

Василий
Аксёнов



ДЕСЯТЬ ПОСЕЩЕНИЙ МОЕЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

ЛАУРЕАТ
ПРЕМИИ
АНДРЕЯ БЕЛОГО

Василий Иванович Аксёнов

Десять посещений моей возлюбленной

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18054934

*В. И. Аксёнов. Десять посещений моей возлюбленной: ООО «Редакционно-издательский центр "Культ-информ-пресс"»; Санкт-Петербург; 2015
ISBN 978-5-8392-0501-7*

Аннотация

Василий Иванович Аксёнов обладает удивительным писательским даром: он заставляет настолько сопереживать написанному, что читатель, закрывая книгу, не сразу возвращается в реальность – ему приходится делать усилие, чтобы вынырнуть из зеленого таежного моря, где разворачивается действие романа, и заново ощутить ход времени. Эта книга без пафоса и назиданий заставляет вспомнить о самых простых и вместе с тем самых глубоких вещах, о том, что родина и родители – слова одного корня, а любовь – главное содержание жизни, и она никогда не кончается.

Роман «Десять посещений моей возлюбленной» стал лауреатом премии журнала «Москва» за лучшую публикацию года, а в театре им. Вл. Маяковского идет спектакль по мотивам этого произведения.

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	30
Посещение первое	30
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Василий Аксёнов

Десять посещений моей возлюбленной

© В. Аксёнов, 2015

© А. Веселов, оформление, 2015

* * *

Друзьям юности, и конкретно Ч. Н.

Безумие висит на сердце юного: жезл же и наказание далече от него.

(Притч. 22:16)

Грех юности моей и неведения моего не помяни... Господи!
(Пс. 24:7)

Юности трудно без обучения отдаться под иго святыни.
Исаак Сирин, Слова

*Ты, как прежде, зеленым
Мог бы остаться... Но нет! Пришла
Пора твоя, алый перец.*

Басё

*Взгляните на девушку в пору ее расцвета по 15-му или 16-му
году...*
Будда

Предисловие

Душно.

С утра об этом говорят, только и слышу. Как об угрозе, чуть ли не военной. Да о *давлении*. Один другому, словно жалуясь:

Дохнуть, мол, нечем... как в котле.

Сам я не чувствую, не понимаю. Вдохнул да выдохнул. По мне – нормально.

– Какие, – говорит мама, – твои годы.

– Какие, – говорю, – есть, все мои.

Ну а вообще – давно уже не маленький.

– Да нет, конечно, уже взрослый.

Это не я сказал, а мама.

Так же, как старости не понимаю. Вижу, что есть; к себе не применить.

А что парит, и я согласен. Тут разногласий быть не может.

Сосны *волнуются* на Камне. Не от земного труса, а от марева. Папка сказал бы: мельтешат. Мама бы так сказала: зыбнут. Видишь их, сосны, не четко – как через мутное, с разводами, стекло. Древний посудный шкаф стоит у нас на кухне с незапамятных времен – вот в нем такое. Пленка, бывает, расплывется от мазута на воде – похоже. Сложно за ним тарелки разузнуть и отличить стакан от кружки – преображаются. В детстве прильнешь, бывало, и любуешься. Словно мультфильм, и будто ты его снимаешь; и режиссер сразу, и зритель. Точно такой же гробом называют у Чеславлевых. Или – бухфетом. Но стекла в том, в чеславлевском, чудней еще, чем в нашем; *кино* смешнее. А так они – как близнецы. Кастор и Поллукс. Можно решить, что делал их один и тот же мастер и что жил он, этот умелец, скорей всего, в Ялани. Откуда б кто такой привез?.. На чем?.. Железной ветки нет у нас, не дотянули, и от морских путей далековато... Не по Кеми же – из берегов бы ее выплеснуло... Его, *бухфет*, и краном с места не сорвешь и не столкнешь его бульдозером – такой он.

«Горе. Обо всем свете, – про наш кухонный шкаф говорит мама. – Можно коня в нем содержать».

«Посудник, баба, как посудник, – отвечает ей на это папка. – Без причины придираешься... Зато уж долго не развалится, другой не надо покупать».

«Ну, это правда».

Заподозришь:

Да уж... не папка ли тот славный мастер? Вряд ли. Преданье нас не обошло бы стороной. Не умолчала бы история. Он, папка, сделал коромысло – его вдвоем надо таскать. Мама – не в силах. «На дрова изрубить, – говорит она. – Только что. После беды не оберешься». Папка рассердится, конечно: старался – делал. Одно у него для своего детища слово: коромыселко. Приятно слышать. Пусть уж останется – на память. Может, в музей потом возьмут. Потомки будут удивляться: какими предки были, мол, богатырями. Так вот.

Папка наш шкаф, быть может, и поднимет. В Яла-ни мало кто его сильнее.

Клюв у вороны околоточной, овершившей собой электрический столб перед нашим домом, раззявлен. Настежь. Как будто вставлена в него распорка – ему сомкнуться не дает. Перья – нахохлилась – взъерошены. Взгляд бестолковый и бессмысленный. Сколько сидит, не каркнула ни разу. Ни на кота, ни на собаку. Ни на меня. Редко такое с ней случается. Как заболела. Не полиняла только – черная. Как мурин. Так бы сказал Иван Захарович Чеславлев. И на меня бы посмотрел – сличая... Уже не скажет, не посмотрит. Умер.

Но я не черный. Смуглый. Разница. Побыл на солнце день и *подкоптился* – за минуту. Зимой бледнею – *отхожу*.

«У нас-то не было таких, – с сочувствием глядя на меня, говорит папка. – Точно. В ихних, скорей что, в Русаковых. Она, и мать твоя, не бела. Но не така же... Как нерусский. Черты-то русские, но вот по коже... на русака никак не тянешь». Шутит: «Цыгане потеряли». Цыгане ехали и выронили из кибитки, дескать, а мы нашли и подобрали, – ему поддакивает мама. Смеются оба.

Ну а мне-то... Знаю, что русский, не цыган. Вы тут хоть что мне говорите.

Еще он называл меня Амелькой-Вором. В честь Емельяна Пугачева. Не папка. Дедушка Иван. Когда *осердится на чё-нибудь и распояшет, выстар, свой поганый язычишко*. А не на что-нибудь, так на кого. Сердился часто. «Ни на чем. Ветер чуть дунул, он уж в гневе; муха жужнёт – он уж и вышел из себя. Да рази ж можно?.. Потерпи-ка», – Марфа Измайловна о нем так говорила. И привирал он, дедушка Иван, что довелось ему однажды в детстве *таво* видеть. Якобы. «Чириз Ялань с полком проследовал в Рассею. Из Забайкалья. Ага. Леший носил туда зачем-то. Когда с сарисей был в серсах. С Якатериной. Шел на яё, ожесточенный. Ну дык... Здесь, за поскотиной вон, биваком и ночевали. Ох уж и выглядел – как вепирь. Дела-то темные, канешна. У них по ревности там чё-то получилось. Яму́ гумагу кто-то настрочил... добропыхатель. Оно бывает и у сарёв... что приревнует. Повоевать. Повоевал. Ага. Посля в сапях уж провели, воителя, обратно, как мядведя. Прямоком сюда – на Туруханск. Честно скажу, тот раз уж я яво, преступничка, не видел... А на заимке был, на посевной... Здря по деревне не болтались. Шесть лет всего, мальчонке, было, а я уж, паринь, боронил. Не то что нонешные оглоеды... оно и вправду пятки сточили в празной беготне, и им хошь што ты... беспалезна». Ясно, кого имел в виду, – взглядом-то нас строгал при этом.

Не привирал, а сочинял. И не за выгоду, а просто. Знал он, дедушка Иван, что никто *басням* его не верит. Но делал вид, что *обижатся*: сбрехнешь – поверят, дескать, правду скажешь – нет, и чё за люди, мол, такие, им хошь ничё не говори, а хошь заврился. Умолкнет временно, посасывая шумно трубку. Угаснет та – ему нет дела. В потолок пристально поглядит. В небо ли. Где он в это время находится – в избе или на улице. Пока *на чё-нибудь опять не взьесца, пес облезлый, и на кого-нибудь не вскинется как очумелый*. Словесно. Так-то он, дедушка Иван, и пальцем никого не трогал, пусть и по лени, только обзывался. И дурными словами не *лаялся*, только: «Ишь, лихорадка, язве бы в тебя!» А намекать-то – намекал, иносказательно – случалось. Так намекнет, бывало, – *уши заворачиваются*.

«Гольный Амелька-Вор, и как мог уродиться?.. – про меня. – Значит, не здря тот ночь тут коротал, видать, спроворил... Ну, дело это не мудреное».

И эфиопом тоже называл. Меня, уж ладно. Не досажаю. Рыжему, внуку, хуже доставалось. Он то *Кандальник* был, то *Шибиздя*, а то *Послед Коровы Заполошной* – это уж вовсе. Но привык Рыжий, мой друг, – не реагировал. «Весь уже умишко махоркой, – говорил он про деда, – из своей башки, как ос из дупла, выкурил – пустует».

Достоверно.

Воздух не движется, словно прибитый. К земле ли, к небу ли. К чему-то. От дымокура дым – и тот в нем будто растерялся, не знает, как себя вести, – набился плотно под навесом и из ограды никуда – топор хоть вешай.

Листья на березе обвисли – как лоскутки на ней – болтаются. Не шелестят, не шевелятся. Разве от птичек – те в ней, в березе, вяло копошатся. Мух ловят, гусениц ли, тоже квелих. Птички мелкие, шмелей немного лишь крупнее. Головки у них черные, а тушки серые. Как у чечеток. Обычно юркие, но тут – стомились.

То ли они, птахи эти, как комары, пикают, то ли в ушах попросту звенит. Если они – едва их слышно.

Жара гудит – все заглушает.

Туча надвинулась. Хоть и без ветра. Из земли, что ли, как гриб, выросла. Возникла. Свинцовая. Будто не только цветом, но и телом. Папка не «тело» бы сказал, а «тулово». Ткни

чем-нибудь в это *тулово* – почувствуешь. *Шпицей*. Палкой какой-нибудь бы дотянуться. Тугая будто – напирает. С густо-пунцовыми разводами-пахами – ими особенно страшит. И с ярко-белыми – слепят глаза – опушками. Она – и туча. А не облако. Облако пух напоминает. Безвредно то проносится по небу. Не *мглою кроет*. Тень разве только наведет. Да короткосрочную прохладу. Сейчас бы – кстати.

Над самым ельником клубится – словно варится. Как над кастрюлей. Что там готовится? Какая каша? Сама на себя, пучась, нагромождается. Еще и наизнанку при этом будто выворачивается. Такая грозная – и градом может разразиться. Пусть бы.

В прошлом году изрешетило, как бумагу, шиферные крыши. Словно шрапнелью. Нам-то не страшно – желобник. А у иных в домах еще и стекла в окнах выставило – шквалом. Дорого людям ремонт обошелся. *В копейчку*. Нас это горе миновало. И парники закрыть успели. А то остались бы без огурцов. Как Винокуров дядя Миша. Но тот: «Не горе, не беда!» – тому и море по колено. «Чё огурец-то, – говорит, – не хлеб. Трава. Без огурцов, мила ты моя, прожить можно. А на закуску-то – канеешна. Дак на закуску и куплю». Если продаст кто, так и купит.

Вышел я тогда – после того, как тучу опрокинуло за Камень, – посмотрел: дыры в лопухах, словно их тля голодная поела. Белым-бело вокруг – будто снег выпал. Сутки еще в тени лежали градины. Были с яйцо куриное, не меньше. По лбу попало бы такой, мало бы вред ли показалось.

У мотоцикла фару как-то не разбило. Забыл загнать его в ограду.

И гром гремел над головой, и вспышки молний воздух вспарывали рядом. Озоном пахло. А из печной трубы нашей подсобки кирпич высеколо – крошки его рассыпались по всей ограде. И папке ногу обожгло в избе через розетку электрическую – сидел он тогда за столом, рядом с розеткой, читал газету. Лечили после. Долго заживало. Сено косили без него. Переживал он, нет ли, я не знаю.

Мама как-то рассказывала, что бабушка ее, мой, значит, прадед, Истихор, перед грозой, чуть лишь заслышав, выбрасывал из избы на улицу кошку, клюку, ухват и кочергу, а сам с иконой Николы-угодника прятался за русской печью – *так опасался*. Смешно, конечно. Что оно значит-то – неграмотный. Но все равно – он же мой прадед. И я таким же, может, был бы, живи тогда я, при царе. Поговорил бы с ним сейчас – со своим прадедом. Охота.

Будет, все и смотрю, гроза, не будет ли?

Сегодня – пусть, лишь бы не завтра. Не задохжилось бы – что главное. А град-то – ладно. Пережить можно, если застигнет не на чистом месте, а в укрытии.

Не задохж-жило б – так по-стариковски. Идет, мол, до-ож, дожди-ы ли зарядили. Чудно они у нас в Ялани разговаривают. «Разболокаться». «Давеча». «Тажно». «Лонись». «Вечор». Мы – по-другому. Я иногда и маму поправляю. Она – смеется: не знаю, кто, а я-то, мол, по-русски. Ага, по-русски. По-чалдонски. По-русски вон – по радио. И – телевизору.

«Ну, как умею, так и говорю... Меня уже не переучишь», – так скажет мне.

А я ей:

«Да уж».

Хорошие они у нас – и мама, и папка, хоть он и строгий.

Обогнуло с тылу ее, тучу, солнце. Вырвалось. Радостное: освободилось. Словно из плена, из силков. Сияет справа. Июньское. На самой маковке – оттуда. Нас в это время оно жалует – надолго не покидает. Едва лишь в ельник занырнет, уже и вынырнет, и – утро. Ну, коли – Север. Ночь тут пока напрасно, что ли, *белая*.

Солноворот. Хорошая пора. До сенокоса. А там – как каторга, неволя. Косить, правда, нравится. Когда не жарко. По росе. И таборить с папкой, мамой и братом на покосе возле костра – тоже. Чаю кипрейного попить, или с душицы, или с листом малиновым или смородиновым, так, чтобы губы обжигало, – на кружку дуть. После поспать на пожне час. Конечно

– здорово. Никто не спорит. Да время тратить неохота: не порыбачишь. На это дело я азартный. Зарный – так папка говорит, то есть – *охочий*. Вчера уехал. Друг у него старинный в Новой Мангазее помер. *Проводить*. Пообещал, вернется скоро. Кто, может, и... но я не шибко-то соскучился.

В июле жор у щуки начинается – а я вместо удилица держу в руках литовку или грабли. И врагу не пожелаешь. С начала августа – у окуня. А мне дорога – на покос. Опять сплошная нервотрепка. Ладно, погода постоит, и мы управимся недели за три. Но так – не Африка – у нас бывает редко.

«Солнце, – говорит мама, – на самую макушку взобралось, денька два там отдышется, передохнет, и вниз, к зиме, поедет, как на саночках, – туда уж быстро, не заметишь. Это к теплу, к весне-то – не дождешься».

А про меня она:

«С речки, наверное, и не вылазил бы, там бы и жил... вот где рыбак-то, а... и хлебом не корми».

И не вылазил бы. И жил бы.

«Ну, – говорит мама, – к рыбакам и Господь благоволил. Им помогал и сеть закидывать. И по воде с ними ходил. И даже ноги умывал им».

Ох ты.

Это она из бабушкиных сказок повторяет. Из бабьих – папка говорит. В детстве еще, когда не смыслил ничего, с открытым ртом их, эти сказки, переслушал, теперь и я не верю в это. Но маме не перечу. Пусть заблуждается. И без того частенько огорчаю. Не специально. Так получается. То где-то долго задержусь, то где-то с кем-то подеремся. И жить становится невмоготу, когда увижу вдруг, как она плачет. Плачет без слез – одним лишь подбородком.

Скажет обычно мама так, на меня с грустью, словно на сироту, посмотрит, после, вздохнув, добавит тихо: «Спаси и сохрани, Господи, дите мое неразумное» – и по делам своим направится. А я?

Слышу я это и стесняюсь. Тоже придумает – *дите*. Давно уже не *неразумное*.

Скоро идти в десятый класс. И как-то грустно. Что в последний. Когда, казалось, доживу. Уже и рядом... «Время – не конь, – говорила Марфа Измайловна, – не стреножишь, в стойло не поставишь». А иногда бы и хотелось. На рыбалке. Там уж, наоборот, его не замечаешь.

Люблю и осень *золотую*. Бабье лето. Если картошку быстро выкопаем, приберем, потом – свободен: гуляй на все четыре стороны, куда захочешь, – никто не держит. После занятий в школе. В воскресенье – от темноты до темноты. И в октябре. И в ноябре. Да и зима мне тоже нравится... Когда морозы не лютуют. Всегда во всем есть что-то да хорошее. А как же. Сейчас – рыбалка. Осенью – охота. Зимой – на лыжах походить. Ну а весной – все оживает. Тепло. Ручьи журчат. На речках ледоход. И с юга птицы возвращаются. Только вот душу как-то щимлет... И я, чалдон, как мама, вдруг заговорил. Ну, прорывается. Бывает.

До обеда стояло ясно. Хоть бы где облачко. Нигде. Как обокрали. После обеда появилась. Подкралась. Тихой сапой. Без предупреждения: не *погрёмывала*. На юго-западе. Дождливый угол. Гнилым его называет папка. Не только он, и все в Ялани. Оно и верно. Как только чуть оттуда ветер, с *Руси*, и жди, что скоро заненастит, – такое правило, без исключений. Когда изменится во всем, тогда изменится и в этом. Но я не против.

Пусть остается так, как есть, – оно привычней.

Пока еще не над Яланью. Над Ендовищем и Красавицей – над ними. Может, и дальше. Так, глазомером, сложно рассчитать. В той стороне определено. Остановилась, и ни с места. Только – ввысь. Будто брела она себе по небу, волочилась, сама не ведая куда, Ялань вдруг издали увидела и обомлела. А потому и кверху тянется – чтобы село ей лучше разглядеть. Случается. И сам я иногда перед чем-нибудь замираю, что впечатлит. Мир Твой чуден, Гос-

поди! – как говорит мама. Веруш-шая – говорит про нее папка. И добавляет: Глупа, дескать, баба. Не прав, конечно. Да он и сам-то так не думает. Просто – горячий. «Как порох, взрывчивый, – говорит про него мама. – На языке пых, на сердце пламя». Оно – похоже. Ровным, прохладным, не бывает. Я не в него, конечно... но... посмотрим. Что-то, наверное, и есть. Хожу, как он, немного косолапя. Раньше пытался даже изменить походку – не получилось. Отступился. «Горбатого, – говорит папка, – могила исправит». И косолапому не переделать ноги. И косолапые живут.

Знали наши предки, казаки-первопроходцы, умели выбрать место, где построиться. Я уж им очень благодарен, их потомок. Люблю Ялань. Она – и родина. Сначала был острог поставлен. Как где-то вычитал: *Острожец Сретенский, што на ялани*. Там же: *От злых тонгусов* — докучали. Позже и слобода населилась. Большая, промысловая. Оклады для икон ладили. И книги подновляли. Ну и железо – из руды: крицы полно по огородам. И сенной, и дровяной – промыслы. И звероловный. И мыли золото по речкам. После здесь волость размещалась. Со всех сторон к Ялани подъезжай – вид на нее – хоть залюбуйся. Село красивое, конечно. И не добавить, не убавить. Не потому, что я *кулик*, она, Ялань, – мое *болото*. Всякий заезжий признается: ему, мол, нравится. Еще бы. Умел бы красками я рисовать, нарисовал бы. Фотографирую-то часто. Ребятам снимки раздаю. И те гордятся. «Был здесь проездом поп один, – рассказывал Иван Захарович, – что Аввакумом прозывался. Дак тот в Ялане жить хотел остаться. Тут тока, дескать, стану вековать, к сарю, в Москву обратно не поеду, в Питер ли. Не разрешили. Сказали, пачпорт-де просрочен». Правда, не правда ли, не знаю. Вполне возможно. Но и соврать деду Ивану – *раз плюнуть*.

Теперь уж больше не соврет.

Разваливается вот только Ялань моя, жалко. До слез. Дома пустеют. Люди уезжают. Кто куда. Чаше, конечно, – в Елисейск. И – в Милуково. После объявленного *укрупнения*. И кто придумал? Враг какой-то. Не наш же кто-то, не яланский. И школу будут убирать. Оставят тут четырехлетку. Потом когда-нибудь и ту закроют. Только подумаешь об этом, сердце леденеет. Вынуть его хочется – сердце. Чтобы не ныло. Как от нечаянной беды. Был бы девчонкой, и расплакался бы. Не я один, переживают все ребята, кому Ялань не безразлична. Других, наверное, и не найдется. Не только нас, и взрослых огорчает – с тревогой это обсуждают.

До революции была церковно-приходская. Но ведь была же. Хоть и Россия называлась *темным царством*.

«Ох», – говорю я.

«Ну, не вздыхай ты, не вздыхай... Старик прямо, – говорит мне мама. – Душа заходится от твоих вздохов. На все воля Божья, – говорит она. – И на это. Как уж Господь распорядится, с тем нам и смириться надо будет».

Отсталая – конечно. Ни одного класса образования – естественно. *Близь и порога школы*, – нам рассказывала, – *не пустили* – раскулаченные, дескать, расказаченные. А как представлю, тут же обмираю: вижу ее, маму, девчонкой, младше, чем я сейчас, напротив школы. *Над дверью школы лозунг-полотнище разместили: «Жизнь колхозам, смерть кулакам!»* – а я, ребенок, виновата ли?.. *Чем же я смерть-то заслужила, мол?.. Да и родители – не знали отдыха, трудились рук не покладая...* Читать умела – кто-то научил. Писать умеет – научилась. *Мама наша, – говорит, – умерла... не выдержала. Такое вынести... не каждому по силам.* Моя бабушка. Анастасия Абросимовна. Одним глазком бы посмотреть. Не суждено. Мечтаю только. Может, наука скоро что-нибудь изобретет, и можно станет странствовать во времени, видеть и прошлое и будущее. Как на экране. *Тятя, вдовец, остался с нами. Самому малому из нас, Петру, второй годок только исполнился... малютка. А всех – одиннадцать. Плачет тятя кратче, нас стыдится. Как не заплачешь-то, завоешь волком, к себе примерь-ка. Господи, не приведи.*

Пусть и не верю в Бога, но прошу за маму – у Вселенной. Вижу: стареет... Ну и – папка. За пятьдесят им – старые такие. Если всегда бы молодыми оставались, вот было б здорово. А то... Каждый, пожив, другому уступает место. Где-то я вычитал такое. Так и должно быть – справедливо. Не доберусь никак до Карла Маркса. Труд бы осилить – «Капитал». Тогда бы многое мне прояснилось. И кое с кем бы я поспорил. А то: *Да чё ты понимаешь!* Да понимаю. Слов иногда вот только не найти. То доказал бы.

Марфа Измайловна, бабушка Рыжего, будь бы жива, и помолилась бы. И обо всех и о Ялани. Ну, помолилась бы, и что бы изменилось? Да ровным счетом – ничего. Хоть замолись. Все помню: сеет у себя в огородчике что-нибудь, напротив нашего, морковь плюет ли, бухнется вдруг ни с того и ни с сего на колени между гряд, пыль над собой взметнет, тяжелая, и ну креститься да в землю, как журавль колодезный, кланяться. «Надумат чё-то, – Рыжий мне толкует. – Чё-то ей в голову взбредет». Как хорошо, что родились мы с Рыжим при советской власти. Не как они, а то бы тоже... Нынче, весной этой, скончалась. Как раз на Пасху. «Надо и Пасху отмечать, пресветлый праздник, – забежав к нам за посудой, жаловалась Матрена Николевна, ее невестка, мать Рыжего и моя, тайная, крёстная. – Надо и хоронить. Лежать в доме не оставишь». И сочетай тут, голова кругом, как бы уж с ног-то, дескать, не свалиться. Через неделю после Марфы Измайловны умер и муж ее, дедушка Рыжего, Иван Захарович Чеславлев. «Весь мир, обширная, заботой опекала, и за трухлявый пенёк в лесу, поди, печалилась, – сказал Иван Захарович о *своей старухе* на поминках, к столу не подходя, с кровати. – И меня уж, шумного и злодучего, со всем худым на белом свете заодно отмаливала... Мне без яё типерь и делать неча тут, опасно... Хошь уж и грызлись, как собаки. Не без этого». Следом за нею и подался. *Чтоб далеко-то не отстать*. Да тех, кто там, уж не догонишь. В небытии, где пустота. Ни *Царства*, что им пожелали. *Для боговеров только утешение*. «Обществоведение» изучаем. Сильно скучает по ним Рыжий. С лица спал, как говорит о нем моя мама. Без них и мне осиротело. Будто от Вечности убавилось. И – от Пространства. Не говорю уж про Ялань. Мама-то молится, конечно. Проснусь иногда рано утром, вижу. Глаза сразу закрываю – будто подглядываю, получается – стыдно становится, неловко. Особенно тогда, когда услышу: *И сына моего, Олега...* Но что молитва эта даст?.. Смешно и думать. Ничего. Совсем село наше опустеет, как и наметилось, и никакие просьбы не помогут. Правильно папка говорит: ума-то нет, и лоб в поклонах расшибешь... был бы, мол, Бог, войн-то бы не было, то чё творится в человечестве – позор. И вон с Китаем, дескать, назревает – с друзьями бывшими. Не говоря уж про Америку – капиталисты. Ну, поживем – увидим. Папкино слово много весит. Да и рука. Я – про ремень. Изведал в детстве. Не жалею. И что жалеть, раз сам заслуживал. Теперь-то он меня не трогает. Я – самый младший. И если всех, кроме меня, нас перечислить – четверо. И все они мне очень дороги – родные. Только те светлые, я – темный. Они – поморы. Я – казак. И все – Истомины – понятно.

Прямо бельмо, мне эта туча. Планы нам как бы не смешала.

Я, Рыжий и Вовка Балахнин собрались завтра отправиться на велосипедах дня на три на Тыю. Большая речка, в Кемь впадает. Рыбы в ней полно. Наши родители нас отпускают. Меня и Рыжего. Пока не начали окучивать картошку.

Мы с Рыжим будем в свое удовольствие рыбачить, а Вовка, завидуя нам, – торчать в избушке и следить в окошко за роями. Но ведь не мы же виноваты. С ним-то и нам бы было веселее – он неунывный. Отец заставит. Лишь по утрам и вечерам, когда рои не будут вылетать, и ему с нами можно будет прогуляться. Тому и хватит – не рыбак. Ему компания важнее.

Еще поедem если, то вон... как на неделю заненастит. Не подведи уж нас... Вселенная.

Харюз начал браться. Отдохнул после икромёта, выздоровел, теперь кормится – клюет. И вода после разлива уже просветлела. У Вовки Балахнина – Рыжий, тот тоже, кстати, Вовка, но редко кто его так называет, – у Вовки Балахнина там родители работают на ОРС-овской

пасеке. Пчеловоды. Сама пасека расположена в километре от Тыи, в листвяге. Оно и место называется так – Лиственничное. А чуть подальше – Богоданное. Не доезжая – Сакалин. А от Ялани до поместья чуть ли не двадцать километров. А то и больше. Кто их там мерил? Конная, травянистая дорога – по ней покатым. Через Сосново, Медовое – это яланские поля. Там и ручей Медовый протекает, приток Бобровки. В нем тоже, кстати, *харюз* водится. Только некрупный. *Белячок*. Даже не станем и задерживаться. Но поглядеть-то – поглядим. Ведь любопытно.

Мечта: на Таху бы попасть. А что, быть может, и удастся. Туда начальство разное на вертолетах прилетает. Из Елисейска и Исленьска. Еще военные – те на танкетках. Карбид бросали, говорят. Ну, это подлость. В моей бы власти было, наказал бы. Их не накажешь – руки не достанут. Бояться некого им – худо.

Вон и транзистор подозрительно потрескивает. Опять же тучи этой опасаясь. Она, другая ли, что следом надвигается, воздействует – разряды.

На наше счастье, постоит, покурится и рассосется. Вот хорошо бы. Так, может, только попугает. Пройдет, как говорят, насухо. И ладно бы. Надеюсь. «А дож-то нужен, – скажет мама. – Земля сухая. Окропить». Ну, я не знаю. Нам – не очень. Когда вернемся, пусть идет. Пусть хоть зальется, мы согласны.

«Маяк». Музыку передают. Песни современные. Ободзинский. *Что-то случилось этой весной. Что-то случилось с ней и со мною...* И как поет, и песня эта нравится. *Что-то случилось, чувствуем мы. Что изменилось, мы или мир?..*

– Ла-лау-ла-лау-ла-а...

Сразу мелодия запоминается... Душевная... Не чё попало... Надо слова найти и разучить.

Ансамбль наш. Пою я там, играю на гитаре. Зимой – в школе, летом – на танцах. «БИС» – называется. Долго не думали, решили: «Балахнин, Истомин, Сотников». Начальные буквы. Скоро два года. Рыжий и петь-то не умеет. Но орать виртуоз. И утверждает, что поет. К нам в группу просится: буду стучать на барабане, мол. Не надо. Без барабана обойдемся. И барабана нет у нас... Он «до» от «си» не отличает – Рыжий. *Гулял по Уралу Чапаев-герой!* – вот эту любит. Но на другой мотив кричит ее, на свой какой-то... Один у него мотив... для всех песен. Есть барабан, но только школьный. Стучи ты в школе... на уроке... поставь на парту барабан свой – колоти.

И эту: *Льет ли теплый дождь, падает ли снег...* – тоже. «Восточная». Почему-то.

«Эти глаза напротив» разучили. Хорошо получается. Часто просят – исполняем. Была бы у меня девчонка, ей бы спел. Только не *чайного* вот цвета... Другие нравятся – зеленые.

Поем мы наше, русское, а на магнитофоне слушаем «битлов» и «роллингов». Еще и «криденс». И не только. «герл» у «битлов» – так это классно. Я и стихи свои придумал к этой песне. Не хуже. Немецкий в школе учим – плохо. Их либе дих... Конечно – либе. Валерка Крош – тому вон надо. И Витька Гаузер – ему. А у них, хоть они и немцы, *тройки* по немецкому. Да уж какие, правда, они немцы, такие же, как и мы – русские, только фамилии немецкие.

«Мишель»... «Вчера». «Битлы» умеют. Вот инструменты б нам такие, как у них. Аппаратуру бы такую. Мы бы сыграли.

Еще и эту: *Словно сумерки наплыла тень – то ли ночь, то ли день...* – но эта чья, я и не помню... Не Ободзинский и поет.

Ну и конечно: «Лунный камень».

– Подари мне лу-у-унный камень – талисман моей любви...

И эту просят. Рыжий ее вот и орет. Уже полгода. И на рыбалке. Вода в реке пупырчатой становится... и рыбадохнет. С ним нарыбачишь. Завтра ему условия поставим... Там шивера, конечно, шумная – заглушит. Он и ее переорет. «Зычный», – говорил про него

дедушка Иван. – С яво бы глотки пулями шмалить... хошь по чему... хошь и по этим... да, мать иё, хошь по заплотам... лишь бы уж тут не мельтесил, перед глазами не маячил».

Сижу я в тени под навесом. Удочки делаю. Чтобы запасные были. На всякий случай. Большой таймень схватит и оторвет, или коряжину поймает. Мало ли. Отцеплять не полезешь – вода студеная. После без чирея не обойдешься – пусть хоть один, да обязательно соскочет. Шут с ним тогда уж, и с крючком. Даже и кони – те не пьют из Тыи – такая в ней вода холодная. Но видел ровно год назад:

Отец Вовкин, дядя Коля Балахнин, со своим родственником, дядей Сергеем Есауловым, купались в Тые. На пологом камешниковом берегу стояла алюминиевая, четырехведерная фляга. С медовухой. После, не знаю, были ли у них фурункулы? Вряд ли. «Ого!» – кричал, фыркая, один. Другой кричал: «О-го-го!» – и тоже фыркал. Даже ныряли на стремнине – их и сносило ниже, в омут. А тут же, заступив в развернутых болотниках в речку, тетя Груня, Вовкина мать, белье полоскала, поглядывала изредка на них, на мужа и на свояка, и говорила: «Ну, жеребцы. Ну и здрешные... ненормальные... после такого чё-нибудь у вас отвалится, отмерзнет... Руки мои – и те едва вон дюжат, отогреваю у костра». А мы поблизости рыбачили с Володькой. В это же время вот – в июне. *Харюз* клевал тогда – *ангарский*. Как говорят у нас: горбатый. И наловили мы... порядочно. Два туеса я засолил. Папка – хоть сам вроде и не рыбак, но есть рыбу, как жареную, так и соленую, да и в ухе, охочий – уж сильно, помню, был доволен. Пусть на словах и посмеялся: ну, мол, и стоило ли ездить. Это он так, чтоб радость свою скрыть. *Хоть похвалил бы раз парнишку*. Нечего хвалить.

Рыбу с *душком* у нас едят, засоленную *по-ангарски*. Но кто-то ест такую, кто-то нет. Привыкнуть надо. Мне – нормально, я привычный. Медведь такую тоже любит. Залез он, медведь, однажды на пасеке у Балахниных в омшаник, полбочки ельчиков с *душком* скушал, а остальных раскидал по всему омшанику, по ним валялся.

А медовуха-то тогда зачем нужна была им? Дядькам Володе и Сергею. Да неводить они намеревались, не купаться. *Для сугреву*. Но передумали: вода, сказали, ледяная, хоть и плескались они чуть ли не час в ней, выскакивая с ревом на берег и подбегая к фляге ненадолго. Загрузили они, искупавшись, выполосканное белье и флягу с медовухой на телегу, коня стегнули и поехали на пасеку. Мы после песню долго слышали. Одну и ту же – про камыш. Пришли в избушку, они спали. Потом, проснувшись, снова пели. Уже сквозь сон мы это слышали – нам не мешало.

Красный петух стоит в ограде. В лучах солнца. Как огонь, вспыхнул. Красавец. Будто его сейчас фотографировать кто-то собрался – в позе. Еще и саблю бы ему. Или – винтовку. И сапоги еще со шпорами. На меня одним глупым глазом уставился – как будто целится. Другим – на Буску, кобеля нашего, – мол, и того бы застрелил. Буска спит, с утра самого, возле крыльца – так разморило, бедолагу. Во сне лапами судорожно от слепней отбивается. Крикнуть ему: «Буска!» – проснется. Не буду. Пусть дрыхнет. Куда пойдешь потом, привяжется. У нас все Буски – если кобели. Была и сука. Найдой звали. *Охотницкая*. Буска от нее. Папка их кличками снабжает – не мудрит долго. И не советуется с нами. Мы уже к этому привыкли и кличек, которые нравятся нам, не предлагаем – бесполезно: какую даст он, папка, та и прирастет.

Ждет петух: когда я пойду, он налетит сзади и клюнет меня в... одно место. Больше ему заняться нечем. Куриц полно вон. И у нас, и у соседей – у Чеславлевых. И у других вон – у Савельевых. Вот бы за ними и следил. Горе сплошное, а не *петел*.

Замер. На видном месте – как в засаде. Смешно. Скажи теперь, что он не дурень. Настоящий.

Давно так стоит. Минут двадцать. На меня смотрит, как я – на поплавок обычно на воде, когда рыбачу. Неотрывно. Вот уж где выдержка, так выдержка. И не рыбак. Как часовой в почетном карауле. Не шевельнется. Сменить некому – найди-ка где такого же упертого. И

солнечный удар его не хватит. Мозгов нет – поэтому. Там по чему ударишь – по пустому? Гребень лиловый на солнце – будто расплавился – стекает. Черно-зеленый хвост переливается. Как перламутровый. Тупой петух, конечно, но красивый. Часто так бывает – либо одно дано, либо другое, вместе-то редко.

Один раз, этой уже весной, только на улицу их выпустили из курятника, еще по снегу, взлетел он, паразит, мне на спину и тюкнул крепко меня по затылку. Я обомлел, оторопел. И еле-еле от него тогда отбил. Мне показалось, что скворечник на меня упал, – так неожиданно и больно. Когтями шею поцарапал – йодом замазывать пришлось. И не ответить, гаду, – верткий. Прямо как Мухамед Али.

Прежде чем выходить из-под навеса, я его удилицем тресну. По хребтине. Он никого, только меня и папку признает. Но на того не нападает, а на меня все же осмеливается. Как понимает. Папка – тот быстро с ним расправится. «Чугунок, – говорит, – по нему, по недоумку, плачет». Ну то есть суп в виду имеет. Я из него и суп не стал бы пробовать. Как из следа копытца пить воды.

Сделал я удочки. Пошел. Про петуха помню.

Иду мимо. Смотрю. А тот – как памятник – ни с места.

К крыльцу направился я.

Только слышал он, не объявив мне, как Гитлер России, войну, но заскрипев оплошно крыльями при этом, кинулся сзади на меня, я повернулся и поддел его ногой. Нога в кеде. Не в сапоге. А то бы...

Чуть запоздай, мне бы досталось. Даже мурашки по спине – только представил.

Подлетел петух, кудахтая-ругаясь, опустился на землю и опять на меня бросился. Вот неумный. Мама его водой обычно обливает – воды боится. Как огонь. И на меня метнулся он – как пламя. Воды в руках нет – отпугнуть нечем. И удилице под навесом оставил.

Но я уже на крыльце. В выигрышном положении – сюда-то он уже не сунется: не раз отсюда пилотировал, катапультировал, вернее.

И мама тут же, на крыльце, – из избы только что вышла – половик ей надо за оградой вытряхнуть.

– Ты почему пинаешь петуха? За что? – спрашивает.

– Ага, – говорю, – за что! Да он же первый в драку лезет... Клюется больно. – И говорю: – Бандит какой-то, не петух.

– Кто научил...

– Не знаю.

– Ты.

– Не я.

– А кто?

– Сам по себе такой он чокнутый.

– Конечно.

– А чё поесть? – меняю тему.

– Томлёную картошку, – говорит мама. – Но только с хлебом обязательно... И натаскай воды, чтобы хватило... то мне одной тут... умотаешь на свою рыбалку. На сколько дней?

– На три. Ну-у, ма-ам...

– Не запрягал, родной, не нукай.

Петух внизу, перед крыльцом, ногами в нетерпении перебирает – будто ему сейчас зерна насыпет кто-то, полоумному. Как на иголках. Трясет гребнем, как знаменем, весь в боевых судорогах: готов к атаке – чуть она, мама, только спустится. Слежу. Предвижу. Предвижу.

– Счас, чё ли? – спрашиваю.

– Как поешь, – отвечает.

– Ладно, – говорю.

– Сделай одолжение... А после времени не будет у тебя, – говорит мама, спускаясь по ступенькам. – Придут товарищи и сманят. Опять прошляетесь до ночи.

– Да не до ночи уж.

– Ну, до утра, – говорит мама, обуваясь в калоши. – Отца нет, я, спать как лечь, и двери заложу – не достучишься.

– Нет, – говорю, не отрывая глаз от петуха. – Вставать завтра рано, шляться не буду допоздна. Закрывайся, – говорю. – Я в гараже переночую.

– Не замерзнешь?

– Мама.

– Не мамкай... Возьми туда еще хошь одеялишко. То под одним...

– Не надо.

– Или отцовский полушубок... Смотри, простынешь... К утру-то... выйдешь...

– Не простыну.

– Ну как с таким вот толковать, скажите... Какой упрямый... Утром дою корову, пар идет – та дышит. Он не простынет... Боже, упаси.

Направилась к воротам. Открыла их и вышла из ограды. И ничего.

Петух – стоит, как заколдованный. Сварился – красный-то – как рак. Жара такая. Одним зрачком – на меня, другим – на ворота: мама вернется скоро – стережет; ну и меня на мушке держит.

Половика в руках ее, похоже, испугался – тот разноцветный. Или в башке его заклинило. Бывает. Вроде и клинить шибко нечему. Меня напрасно глазом точит – спиной к нему не повернусь, то оседлает.

Вон он, гараж. Куда с добром. Сооружение. Мама говорит: «Такой и бомбой не развалишь». Иначе папка и не строит. Как на века. Мы прошлым летом за одну неделю его сделали. Не поругались. Папка рубил, я – на подхвате. Работа спорилась. Бревна отец привез. Сосновые. Из них. Давно лежали перед домом. На омшаник. А получилось – на гараж. Для мотоцикла. «ИЖ-Юпитер». Двухцилиндровый. Вот – машина. Чуть ли не тридцать лошадей. Он его, папка, мне купил. Сам не ездит. Не умеет. Вожу его. То на покос, то за грибами. Один раз в город *отпалкал* – ему туда зачем-то надо было. Скорости не боится. Под сто порой разгоняюсь. Чтобы сбавил, не просит. Везу маму, и та тоже притихнет сзади – помалкивает. Молится, наверное. А папка фронт прошел – чего ему бояться. Ноги прострелены из пулемета. И так изранен. *Под Мценском*. Выполз по льду из окружения. Не один. Дядю своего двоюродного – вместе воевали, – в живот раненого, вынес. Речка какая-то там протекает. По ней. Упали как-то мы с ним, с папкой, – ох, он и поругался. Сейчас не буду вспоминать. Дальше пешком, думал, пойдет, не сядет больше. Сел. Только дышал в затылок мне, как огнеметом, пока до места не доехали. Но маме высказал, когда вернулись: *Ох и дурак*. Про самого себя так, про меня ли, я не понял. У мамы спрашивать не стал.

В гараже я и раскладушку поставил. Красота. Немного, правда, тесновато. Но ничего. В лапту, в футбол ли не играть. Сплю там до сентября, до самых заморозков. А то закроют в доме дверь нарочно, чтобы меня проконтролировать: домой пришел в какое время? А так – отлично: и не знают. Может, и знают, да молчат. Я уже не маленький, конечно. Но все равно, мол, беспокоимся. Не стоит. Ялань – какая тут опасность.

Дома один когда – контроля больше.

Скорей бы брат с сестрой вернулись из Исленьска, где они учатся. Экзамены сдают. У них там *се-есс-ссия*. Ну, надо же. Он – *архите-е-ектор*. Она – *фи-и-изик*. Какая важность. Это средние – Колян и Нинка. Самые старшие – брат и сестра – те уж давным-давно живут не с нами. *Надо же так вот, разлетелись по чужбинам*: она – в Магадане, он – в Воркуте. Страна одна – какая же чужбина? И дети есть у них – мои племянники. Я – значит – дядя.

Дали бы мне племянников на воспитание. Хоть на недельку. Из них бы люди получились. А в городах-то... я не знаю. Тут вон... раздолье, красота. И у меня не забалуешь. Уши-то быстро надеру.

Приедут, воду пусть таскают. И остальное. Я тут за них поотдувался. Колян и Нинка. Давно уже не видел их, соскучился.

Поел картошки. Всегда заказываю маме: в печи картошку затоми – толченную, мол. Корочка напечется. Золотая. Без масла можно. Со сметаной. С краюхой хлеба *оржаного*. И запивая молоком. Что еще надо?

Слышу, как мама громко что-то говорит в ограде. Понимаю.

Из избы спешно вышел. Смотрю с крыльца.

Мама половик на веревку вешает – чтобы проветрился. Петуха глазами поискал – отсутствует. Вместо него, на мураве, палка еловая валяется. Прежде она стояла у ворот. Мама с ней, подоив, корову пастись выгоняет.

И Буски нет – сбежал куда-то.

– А где петух? – спрашиваю.

– А я ему не сторож, – отвечает мама.

Закукарекал где-то, слышу: врет всем, наверное, что победил.

Жаль, пропустил – баталию не видел.

Прошел под навес. Взял ведра и папкино *коромыселко*, направился к Куртюмке.

Под гору. Зато с водой потом – в угор. Такой ландшафт, не переменишь.

Высоко в небе коршун круги выписывает. Чертежник. Пищит – *пить просит*. Разбойник – где пожить, ищет сверху, зоркий. Мышь в норку тенью прошмыгнет – и ту заметит. Ему крупнее подавай. За кем-то мелким лень ему оттуда падать. В тучу не залетает – опасается: в нее влетишь, а из нее не вылетишь. Возможно. Я б не рискнул. Хотя... не знаю. Интересно. Летать уметь бы – полетел бы. И первым делом бы – на Таху. Какие в ней тай-мени водятся. С бревно. Уж не поймать, а потаскать хоть, силу почувствовать его. Да и поймать – не помешало бы.

Сбылось бы как-нибудь – хочу. Жаль, что молиться разучился. А в детстве, помню, помогало. Не помогало. Совпадало.

Собака лежит на поляне. Кобель. На волка походит. Линяет. Шерсть лезет из него – как вата из порвавшейся фуфайки – клочьями. Отощал. Кость гложет. Нашел где-то. Пахнет про-пастиной. Глаза закатывает, жмурится – так ему вкусно. На здоровье. Не из нашего околотка. Забеглый. Буска будь тут, отогнал бы – задира добрый. Ухо, пришел вчера откуда-то, разодранное. Нос поцарапан. Морда виноватая. Ну, значит, ладно получил. «Совсем избегался», – говорит про Буску мама. «Застрелить надо», – говорит папка. «Сразу и застрелить. Пускай живет. Ему и лет... совсем еще молоденький», – говорит мама. Папка смеется: «Пожалела». Да нет уж, правда, пусть живет. Мы в октябре с ним поохотимся. Я жду. И Буска – тоже. В глаза бы так мне не заглядывал: когда, мол, двинем на охоту-то? «Зверовой, толковый кобель», – говорит про него папка, когда в хорошем пребывает настроение. Когда *не в духе*, говорит: пустой, дескать, кобелишка как пробка... за хлебом – тут уж, мол, охотник. Узнаем осенью, пустой или толковый.

Матрена Николевна идет мне навстречу, торопится, где-то овец своих «глядела».

– Здравствуй, кресна, – говорю.

– Здравствуй, крестничек... В угор-то скоком, запыхалась... С пустыми ведрами... Но ты не баба, слава Богу... Кума-то дома?

– Дома.

– А отец?

– А он уехал.

– А куда? – спрашивает кресна, не глядя на меня. На небо смотрит, ладонью застенив глаза. – Курицу где бы не украл. Цыпушек. И не один, и там еще вон кружит. С Камня ли, чё ли, налетели. На нем гнездуют.

– В Новую Мангазею, – отвечаю.

– К родне?

– Там умер кто-то.

– А-а, – говорит кресна, – Данила Маркович. Мизонов. Царство Небесное, – пере-крестилась. – Отмучился. Давно болел, еще не возраст... Когда отправитесь-то на свою рыбалку?

– Завтра.

– Туча, гляжу, вон...

– Чё нам туча...

– Вам-то и вправду чё она...

Кресна – домой. А я – к Куртюмке.

Вода в Куртюмке прозрачная. Будто и нет ее, а только русло. Пока ведром в нее не булькнешь или в ней небо не увидишь, не обнаружишь. Как и в Бобровке. Как слеза. В Кеми мутнее. Кемь и больше.

Водятся в Куртюмке лишь свахи – рыбки такие. Маленькие. Синие. С усами. Будто родня его – похожи на налима. И такие же, как тот, склизкие. Поймав, держать ее противно на ладони. Как пиявку. Есть и плохое для них слово, не вслух только: ...рыбка. Матерно. У нас не принято так выражаться. Если уж надо, на ухо шепнешь. В Ялани тоже есть охальники, но их немного. Грязноязыкими еще их называют. Конкретно кто, я не скажу.

Никто, конечно, этих свах не ловит. Мальчишки только – чтобы разглядеть. В банку-ловушку. После обратно в речку отпускают.

А когда года три назад шумной и неведомой доселе толпой наехали к нам – не знаю, как, по собственному ли желанию, поневоле ли или по решению партии и правительства, – из *оголодавшего* вдруг Поволжья говорливые и мелкорослые марийцы, они за первое же лето проживания тут всех свах в Куртюмке выловили. Мало того что выловили, но и съели. После, разжившись ружьями, стреляли и ворон. Варили суп из них. Словно из дичи. Не брезговали они и галками. И сороками не гнушались. Бурундуков и белок добывали – не меха ради, ради живота. Нам, местным, было это в диво. Мы их жалели. А, заработав денег и немного подкормившись, *срамным* питаться перестали. Вот уж они-то выражались... Как говорят у нас: прямоком. И говорят еще: наупрямь. Как оно есть, и рыбку эту называли. Без наших тут не обошлось – кто-то же подучил их, не иначе.

Свахи опять в Куртюмке завелись. Плавают. Пугливее, правда, стали. Чуть покажись им, тут же прячутся. И ворон меньше в Ялани не стало. Летают, каркают. Сороки тоже наплодились. То уж дошло, хоть в «книгу Красную» их вписывай.

А из марийцев многие домой к себе вернулись. Не прижились. Слишком уж холодно зимой у нас им показалось, лето – коротким; еще и гнусом сильно их смутило. А нам, чалдонам, так нормально, другую родину не предлагай – рассердимся.

Натаскал я воды. В избу, скоту и на поливку. Уморился. Не так вода тяжелая, как коромысло. Рубаху снял – насквозь промокла.

Сижу под навесом. Прохлаждаюсь. От паутов и слепцов рубахой отмахиваюсь. Кручу настройку у транзистора. Ничего интересного. На всех волнах. Одни китайцы. Язык у них какой-то птичий. Щебечут. И песни их – смешная музыка. Ну а на наших – все симфонии. Ночью еще послушать можно – чтобы уснуть. Но не сейчас.

То вдруг на наш, на русский, перейдут – про нас, про русских, плохо скажут. И что уж такого худого мы им сделали, не знаю? Мао... там как его... Дзэдун.

Приходит Рыжий. На голове сетка-накомарник. Лицо открыто.

– Здорово, – говорит, – Нигер.

– Виделись, – отвечаю.

Весь в веснушках – как забрызганный. Нос облупился – в бумажной заплате. Сам что-то радостный сегодня. Опять, наверное, влюбился.

– Червей пошли копать.

– Пошли.

– А чё веселый-то такой?

– Письмо от Катьки получил.

– Какой?

– Да ты ее не знаешь. Из Подтесово.

– А на носу-то – от письма?

– Нет, от тетради прошлогодней.

– Любовь нечаянно нагрянет...

– Когда ее совсем не ждешь!

Взял я лопату и две пустые консервные банки, которые заранее приготовил. Только за ворота.

– Подари мне лунный камень!..

– Рыжий! – говорю.

– А? – спрашивает.

– Рот закрой – ворона залетит.

– Это не я – душа моя распелась.

– Такая большеротая?

– Жалко тебе?

– Нет. Перепонки не казенные.

Земля сухая. Как зола. С трудом червей накопили – руки смозолили о черенок. И где только не пробовали. Часа два потратили. Уж на назмище, под сырым навозом – там натакались. В банках травой, мокрицей, их, чтобы в кисель не растопились от жары, переложили.

Это на первый день. А там, на пасеке, опять искать придется. Есть, обещает Вовка Балахнин. Старый парник – в нем их кишмя кишит, мол. Может, и так, что одного увидел – и *кишит*. Преувеличивать он любит.

– На паута рыбачить будем.

– Если грозой их не убьет.

– Ну, туча вон. Да и парит.

– И я про это... Рыжий, а кто всех воробьев в Китае уничтожил?

Хохочет Рыжий.

– Ну, придумали!

Зашли на Кемь. Окунулись. Вода холодная еще. Ребят на речке никого. Мелюзга только в прогретых на солнце приплесках бултыхается, как пена. Громко визжат, как поросята. Там и племянник Рыжего – Андрюшка. Пять лет ему исполнилось недавно.

– Не утони! – кричит ему Рыжий. – В речку не суйся!

– Иди на хлен, – откликается Андрюшка. Рот открыт. Зубов передних нет. Трусы сползли едва не до колен. Колени в ссадинах. Как колокольчик заливается – смеется.

– Ну, заявись тока домой, – грозит дядя племяннику, – получишь. Ишь, научился... городчанин.

И мне уже:

– Ты, Черный, слышал?

– Яблоко от яблони, – говорю, – недалеко падает.

– И ты туда же.

Андрюшка – сын родной сестры Рыжего, Зинки. Та привезла его в Ялань на лето – к бабушке. *На молочко и свежий воздух*. Из Елисейска. *Замуж уехала туда*. Такой же рыжий, как и дядя. Такой же острый на язык.

– Мой бы такого не позволил. Это у Зинки... распустила.

– Здесь-то пока он, и воспитывай.

– Черный, ты чё?.. Я не Макаренко. В тюрьму садиться... за него.

– Тебе ее не миновать... Тебе же дедушка пророчил.

– А ты не каркай.

Загорать не стали. Рыжему нельзя – как со змеи, с него сползает шкура. Потом болеет. Лечит его мать. Гусиным жиром. А мне уж некуда – как голенище. Домой направились. И перед тем, как разойтись, договорились:

Кино в клубе. «Кавказская пленница». Четвертый день в битком набитом клубе крутят, в четвертый раз пойдем смотреть. Только на танцы не останемся – нам надо выспаться перед отъездом.

Мы слов на ветер не бросаем: договорились – решено.

В этом кино красивая артистка. Как кто, не знаю, я в нее влюбился. Да и, скорей всего, ребята тоже. Только вот вряд ли кто из них признается. Не признаюсь и я, конечно: ну, мол, красивая, и что? Честно скажу, ревную ее к Шурику. И на рыбалку с ней сходил бы, Кемь и Бобровку ей бы показал. И на Ислень на мотоцикле бы свозил. Только вот комары в тайге – как она к ним бы отнеслась?.. А я-то с ней – на край бы света.

Давно со мной такого не случалось.

В детстве влюбился, помню, в медсестру. До сей поры не забываю.

Живот у меня сильно разболелся. *Брюхо*. День, второй болит, не проходит. Повела меня мама в больницу. В приемном кабинете чисто, солнечно. Лекарствами пахнет. В кастрюльке что-то на спиртовке кипятится. Молодая тетенька сидит за столом. Для меня – тетенька, для мамы – *девчонка*. Пишет что-то прозрачной пластмассовой ручкой в журнале, скрипит неприятно пером по бумаге. «Тетка Елена», – говорит. Это – на маму. И продолжает, оторвавшись от журнала: «И что случилось с нами, черноглазыми?» С мамой о чем-то пошептала. Та рассказала что-то ей.

Выходит из-за стола медсестра. В белом халате – ослепительная.

Я – на топчане. Уложили.

Мама в сторонке – смотрит на меня.

Трогает, склонившись надо мной, медсестра пальцами мой живот, давит на него мягкой, теплой ладонью и говорит:

– Тут у нас молочко, тут у нас хлебушек, а тут... котлетка.

«Наскрозь я ей прозрачный, чё ли?! Ну, – думаю, – вот это да! Волшебница! И как же видит?!» Пил я и молочко, ел и котлетку.

А склонилась она надо мной. В белом колпаке. *Брови вразлет*. *На щечке родинка*. Глаза – зеленые. И это важно. Важно и то, что халат у нее не застегнут на верхнюю пуговицу. И солнце, вывернувшись ловко, устремляется в ложбинку между... И грудь – халатик туго распирает. Я потерялся. Пуще того расстроился живот мой. Не умираю – тужусь из последних сил...

Дала маме какой-то порошок медсестра. Объяснила ей, как надо будет тот употребить. Что после есть и что нельзя.

Передо мной плывет все – как в тумане. Весь в напряжении – топчан бы не обгадить, не опозориться бы мне.

Вышли мы с мамой из больницы. Домой идем. Держит мама меня за руку.

– Практикантка, – говорит. – Чё понимает она...

Девчонка. Еще и опыта-то нет. Надо лечить своими средствами... Хотя бы уголь посо- сать. Тебя же, парень, не заставишь... Кору березовой погрызть ли. То порошок какой-то сунула.

А я – шальной... Уже без памяти влюбленный. Какой мне уголь? До него ли? Да грызть кору еще какую-то. Не заяц. Зачем мне это? Вроде и слышу мамины слова, но смысла их не понимаю. И свою улицу не узнаю – такой впервые ее вижу: из окон прыскает в глаза, как брызгами, лучами солнечными, *резными и простенькими* наличниками игриво подмигивает, ворот полотнами безудержно хохочет – стуча и хлопая, впускают они, ворота, бесперечь и выпускают людей, туда-сюда снующих; сдвигает крыши набекрень – те уж без снега, огребённые; с них и не капает, но все еще парят. Дружно журчат в логах ручьи. На еще не про- сохших проталинах с уже оживающей на них муравой курицы пестрые стоят, охилевшие в курятнике или под шестком за зиму, с удивлением на меня, вытянув шеи, смотрят, как нико- гда будто не видели; за год, естественно, забыли. Скворцы недавно прилетели. Сидит один, звонкий, на голенастом скворечнике, в пышной кедровой ветке спрятавшись, на всю округу заливается – чтобы скворчихе яйца было веселее сносить или пока гнездо еще устраивать.

Сердце мое тогда вдруг стиснуло от этой трели – тоже впервые. Мимо ушей бы раньше пропустил. И то, что есть оно в груди моей, тогда почувствовал впервые. Знал только то, что есть оно у мамы: *Сердце который день уж чё-то ноет – с кем-то из близких чё уж не случилось ли?* А у меня оно до этого не объявлялось. Вот как сейчас – и нет его как будто. Ну, разве что... подплавилось немного... мое сердечко, мой мотор.

И мама, помню, говорит:

«Седмица светлая. Суббота... Как быстро время-то идет», – сама с собою рассуждая.

А я подумал: «Ног нет у времени – оно не ходит». Но ничего не говорю: сам не иду, а подлетаю.

Как разлюбил я ее, эту медсестру, убей, не помню. И разлюбил ли? Уж не люблю ли до сих пор? Если, на ум чуть явится, я так тревожусь. Сейчас увидеть бы ее, все сразу стало бы понятно.

Отправился я на следующий год в школу. С удовольствием. Писать, читать уже умел – Колян и Нинка научили. И книгу помню первую, что прочитал еще до школы. «Джюльбарс». О пограничниках. И о собаке. Потом на сказки перешел, не расставался с ними долго. И до сих пор еще читаю. Не только наши, и другие, разных народов. Едва дождался – в школу так тянуло. И с первого же класса, с первого же дня занятий начал влюбляться в девочек старше меня. Как угорелый. То в ту, то в эту. В моих глазах одна другую затмевала. Одна другой казалась краше. Но без взаимности. Что им там был какой-то первоклашка. На одноклассниц даже не глядел. Они казались мне тогда неинтересными. Сейчас посмотришь, вроде ничего. Галя Бажовых – та особенно. Из дома только никуда ее не выманишь – от мамы ей никак не оторваться. Мамина дочка, одним словом. Не знаю, плохо это или хорошо? Точно, что плохо: *маменькин сынок*. У нас таких, наверное, и нет. Я не встречал, по крайней мере.

Это потом уже, после седьмого класса, так же вот, летом, решил я разом: никаких дев- чонкок – их и в упор не буду замечать. И – никаких. Не замечаю. Как отрезал. Только рыбалка и охота. Еще и спорт. Любим в футбол играть. Но больше – в волейбол. Футбольный матч заканчиваем часто потасовкой. Одна команда на другую. Хоть и условимся перед началом: в ход кулаки, мол, не пускать. Нет, обязательно сорвется кто-нибудь – затравит. А там, кто прав, кто виноват, и разбираться уже некогда. До первой крови. Самый несдержанный из нас Андрюха Есаулов. Задень нечаянно его, а он и в драку сразу лезет. И получает больше всех. Только кричать, а драться не умеет. Видел вчера его – еще с фингалами. Не такие теперь уже яркие. А то сияли. После последней нашей встречи – *на кубок мира*, то есть – Ялани. Не обижается – смеется. Что обижаться, сам зачинщик. «Когда в футбол будем играть?» –

«Андрюха, скоро». Лучше б, конечно, без него. Он у Линьковских нападающим. Линьковский – край такой в Ялани. Есть Городской еще. Наш – Луговой, и самый замечательный.

А в волейбол когда играем, не помню, чтобы подрались.

В этом, девятом уже классе, случилось, правда, кое-что. Странно. Нежданно и негаданно. *Что-то случилось этой весной...* – вот именно. Но еще осенью. Помимо моей воли, врасплох застигло. Бывает. «Бывает, – говорит папка, – и корова летает, а боров песенки поет». И у меня вот. Приехала в Ялань новая учительница по литературе. Лариса Петровна Бестужева-Надрыв. Вместо вышедшей на пенсию Евгении Михайловны Малышевой, нашей классной. Молодая. Только что после института. Двадцать один год. Веселая и симпатичная. В футбол – нет, а в волейбол с нами играла. Пас принимала, *резать* не могла. Выделили ей комнату в общежитии. Был у нее катушечный магнитофон. И – записи на боби-нах. «Енималс». «Крим». «Криденс». «Кинг Кримсон». «Доорс». «Дип Перпл». И много что еще другого, для нас новенького. «Меджикал Мистери Тур» – мы первый раз тогда услышали. Знает английский, нам переводила. Еще пластинки с оперой нам ставила. «Хованщину». «Снегурочку». «Бориса Годунова». Ходили мы, старшеклассники, вечерами к ней. Свет электрический погасим, свечку зажжем. Устроимся где кто – не тесно в комнате – просторная. Она нас чаем угощала. С пряниками. Мы ей вино хотели предложить – не согласилась. «Варну». Не согласилась и на «Айгешат». Я всегда так старался сесть, чтобы ее, учительницу, лучше видеть. Все и поглядывал исподтишка – не оторваться. Тогда сильнее врезалась в душу музыка. Кто бы без этого еще и оперу заставил нас терпеть. «Концерты». «Арии». Тому подобное. Год отучила и уехала вот. На правый берег, за Ислень. В большой поселок леспромхозовский. Высокогорск. Замуж, наверное, там выйдет. Парни в поселках боевые – не упустят. Был бы я старше... Сердце мое она оплавил немного. Может, и много – не проверишь. Не заживает. Тайна моя. От всех держу ее в секрете. И перед Рыжим даже не откроюсь – тот засмеет и разболтает. Очень напоминает мне Ларису – так про себя ее я называю, без *Петровны* – эта артистка из «Кавказской пленницы». Стройной фигурой. И почти одно лицо. Только глаза не карие, как у Варлей, а голубые – у Ларисы. Не я один увидел сходство. Но мне больнее это замечать. Хотя кто знает. «В чужую душу не залезешь, – как говорит мама. – Чужая душа – потемки... да и своя-то». Душа, душа... если была бы. Тело и ум – какая там душа! Это для темных и безграмотных. Двадцатый век. И в космос вон уже летаем. А их из прошлого никак не вытащишь – погрязли. Время такое было – им простительно.

Этот транзисторный приемник от нее. «Спидола». Три дня назад, как уезжать ей, подарила. *Помни, не забывай.* Как тут забудешь? Ее – уж точно, что – не разлюблю. Хоть никогда ее не встречу больше. Подумать страшно. Сейчас мне худо... но скрываю. Стараюсь думать о другом. Пока не очень получается. Песню хочу ей посвятить. Который день уж сочиняю.

– Ла-лау-ла-лау-ла-а...

Еще и лучше. Слова и музыка мои.

Ну, зато Рыжий. Не таится. Вся Ялань в курсе. От мала до велика. Обсуждают. Как события на китайской границе. Вот, мол, а Вовка-то Чеславлев... Сколько уже раз за свою жизнь, еще с яслей, перевлюблялся – тысячу. Ему неймется. В Надьку Угрюмову. В Скурихину Тамарку. В Гальку Усольцеву. В приезжих. Не перечислишь всех его избранниц. И не упомнишь. Журнал надо заводить, записывать: в июне – та, в июле – эта... Им он не нужен – отвергают. День-два ходят с ним, и дальше ни в какую. А он серьезно к этому относится – страдает. И почему? В чем заковыка? Вроде и парень хоть куда. Парень как парень. Рослый, видный. Ну, только рыжий. Так и что? И рыжих любят. Степка Темных. Рыжее Рыжего. Правда, веснушек меньше у него. *Отбоя нет ему от девок.* Так про него и говорят. Хоть бы одна, пусть месяц, два ли, погуляла с Рыжим, нам было легче бы, его друзьям. Гораздо. Любовь несчастная, не удалась – пошел топиться. Ну, елки-палки. Если зимой – как нынче, в

этот Новый год – веревку в руки, в петлю лезет. Чумеет словно: *Мне легче сдохнуть! Жить не буду!* То без Тamarки, то без Гальки. Жизней на всех не наберешься. Едва с ним справились тогда, уgomонили. Пошли, вина немного выпили. Оттаял. Чаше весной – дежурим у реки. Вода большая – бухнется – и нет. Всем скопом держим, не пускаем. Когда один, мер никаких карательных к себе не принимает. При нас обычно. Пока вот, к счастью, обходилось. Но мы с ним рядом век не будем же. В Люську Маркелову недавно втюрился. А Люське нравится Серега Есаулов. Из Коноедов. Такое прозвище у этих Есауловых. Как хочешь, так и разбейся. Ждем в беспокойстве, в напряжении, когда опять его спасать. Какую смерть на этот раз себе придумает? С ним, с этим Рыжим, не соскучишься. Не жизнь у нас теперь, а служба – спасать влюбленного. Ну, надо. Друзей в беде не бросают. Беда. Да эта ли беда? Взял бы да плюнул: шут с тобой, мол! Правильно мама говорит: *Много еще их, девок, этих будет, нюни не стоит распускать*. Я с ней согласен. Это когда Колян влюбился в Аньку Белозерову, а та ему сказала: *нет*. Колян – тот тоже после исстрадался. Даже стихи писал. Про Аньку. *Ангел ты мой...* Тоже мне, ангел. Нос – как насос. Глазки – как пуговики. Что в ней нашел Колян, не знаю. И мне смешно было над ним. Теперь, надеюсь, успокоился. Приедет, что-нибудь расскажет. На эту тему. Не про Аньку. С Анькой все ясно – замуж вышла. Жить переехала в Норильск. Туда, Колян, ей и дорога. Нос отморозить бы ей там.

За зиму перечитал я почти всю нашу сельскую библиотеку. Детские книжки – те давно. Где про политику и про природу, пропускаю. И – философию. А про любовь где, там запоем. Что-то вдруг стало интересно. Книги хорошие можно купить у нас и в магазине. Завозят. К нам и из города за ними приезжают. Библиотек мы, местные, не собираем. Приобретешь, прочитаешь. Другому дашь. Кто-то вернет, а кто-то нет. Вряд ли нарочно – потеряет. Грибов и ягод прошлым летом насобирав и сдал достаточно, часть денег маме отдал, а на оставшиеся купил Франца Кафку. «Процесс». Шло тяжело. Но все-таки осилил эту книгу. А возвращаться к ней уже, наверное, не буду. Очень уж мрачно. Не про то. Купил Рамона дель Валье-Инклана. Вот эта нравится. Еще не раз перелистаю. Место особенно одно там. Рыжий пристал: ему дай почитать. Не дам. Захар Иванович, его отец, одну мою уже пустил на самокрутки. «Три товарища». Ремарк. А он, Захар Иванович Чеславлев, – с него спроси: «Дык иди не Библия... а книжица. Их вон... и в этой... как яё... библиётеке. Рядами плотными на полках. Чё я должён вам за яё?... Она, и книга-то... таво... че-то курилась шибко горько». Дядя Захар, да ладно, ничего, мол. «Ну, еслив че, дак вы скажите. Я и деньгами расплатюсь». Что ему скажешь? Книжки искуривать – вредить культуре? Папка с войны курил, а нынче бросил. Вот сила воли. И наших книг он на сигарки не использовал. Даже и сам читал. Вслух с мамой вечерами. «Север» курил – такие *паперёсы*. Сейчас ему и на дух, говорит, не надо. Что уж решит, так уж железно.

Дождались мы вечера. Вечер – так только называется. Семи часов. Лишь по часам, а не по солнцу. По солнцу – самый еще день. Солнце в двенадцатом заходит.

Жара хоть спала. *Стало чем дышать*. Чем – будто не было до этого. Не понимаю. Прохладней сделалось – согласен.

По всей Ялани дымокуры разложили. Как для воздушного десанта. Для высадки его. Возле домов и на пригонах. А у кого-то – и в ограде. Не промахнешься с парашютом. В тазах дырявых и в негодных ведрах – для *противопожарной* безопасности. От комаров – те, ветра нет, и налетели. Благо им, ельник недалёко. С елок планируют в Ялань. Одно спасение от них. И для людей, и для скотины. У паутов и слепней распорядок свой: спать им пришла пора – куда-то смылись. В траве, наверное, ночуют. Под лопухами. Сверху – их птицы поклуют. Или – под крышами. Не знаю.

– Днем их, – говорит Рыжий, – зато было... не отбиться. И только сядет, сразу цап.

– Перед грозой, – говорю, – злые. Обычно.

С тайги наносит пряный хвойный запах. С бора – багульника. С низин сырых – белоголовника. Голову кружит. Как от бражки. С Рыжим вчера у них попробовали. На черемухе. *Канунной*. Тетя Матрена завела. «Тятя не даст ей достоять до Троицы... Все, слышу, цедит и причмокивает: созрела, нет ли?.. С ним созреет». Мы – вместо квасу. Дрожжами пахнет – не люблю.

– Белоголовник цветет – харюз клюет, – говорит Рыжий.

– Шиповник цветет, – говорю, – шука берет.

– Для шуки рано.

– Ну и шиповник не цветет.

– Да уже, видел, налупляется.

– Ага, он – видел!

– Да!

– Не ври!

Дымку к Кеми стянуло. И к Бобровке. Над ними стелется белёсо. Куртюрма тоже ею, как косынкой, приукрасилась.

Бабушки в нарядных платьях и цветастых, *праздничных*, платках расселись плотно на скамеечках. Как будто склеились. Не горбятся. Как восседают. Дедушки от них чуть поодаль – кто на чурке, кто как – курят, размеренно толкуют о своем. Дым от их трубок обособленный – тянется к небу, а не к речкам.

Нет-нет да и перекинутся старики словечком со старухами. Связь между ними не нарушена. Еще и громкая – по глухоте-то. Кто-то что-то, уточняя, переспросит.

Есть среди них и совсем древние. Из тех уже и слова не вытянешь – замкнулись. Даже и рты у них как будто ссохлись. Почти не дышат. Родственники их выводят из избы – проветриться. Как валенки – достав с полатей. Может, что и живут еще, они уже не знают – запамятовали. Одной ногой здесь, другой – где-то. В глаза заглядывать им страшно – вдруг что увидишь в них и сна потом лишишься. Даже не верится, что и они когда-то были молодыми. Да и на самом деле: были ли? Такими сразу и, скорее всего, родились – стариками.

Смешные люди – старики. Из другой будто жизни, с другой планеты. Вроде и старые, а многого не понимают. Но интересно с ними разговаривать – только о прошлом. О современности – и спорить с ними не хочется – городят сразу ерунду, глупеют тут же почему-то. И Франца Кафку не читали. Все вот: *А в наши времена...* Да знаем мы, учили в школе, как было в ваши времена... Один другого-то... эксплуатировал.

На улице, как и договаривались, перед его домом, мы с Рыжим встретились.

Бумажки на носу нет. Сорвал. Облупина розовая. Сверкает. Гусиным жиром, что ли, ее смазывал.

Пошли.

От дома удалились.

Покурил Рыжий, глубоко затягиваясь и выпуская изо рта колечки, за углом школы. «Беломор». Достал где-то. Дядя Захар, отец его, махорку курит. Я подождал, не подгоняя. С пяти лет Рыжий курит, не отказывается. «И никогда не откажусь. Мне не мешает», – заявляет.

Дальше направились.

Рыжий в рубашке белой – выфрантился. Клеши нагладил, отутюжил.

– Близко не приближайся, – говорю.

– А чё? – спрашивает.

– Порежешь стрелкой.

– Не волнуйся.

Клеши черные, клин в них синий. Края штанин молниями окантованы. И туфли с острыми носами. Блестят на солнце. Как на носу его облупина.

– А галстук где?

– Галстука нет... Тятя стекло от лампы им почистил. Решил, что тряпка.

– Правильно решил.

Я – по-простому – заленился.

Опять народу в клубе – не протиснуться. Своих, местных, достаточно, и на каникулы еще немало понаехало. К бабушкам, к дедушкам, к родне далекой или близкой. Корни у многих тут остались. И отовсюду. Даже с Молдавии и Украины. Кто отдохнуть от шума городского, воздухом чистым надышаться, а кто-то ягоду пособирать. Скоро поспеет земляника. У нас *землянка* говорят. Как не в Ялань, куда еще-то. А нам и ехать никуда не надо, нам повезло – мы родились здесь и живем. Есть симпатичные девчонки. Из приезжих. Одна так очень. Света. Тоже в десятый перешла. Или – в девятый. У Шадриных гостит уже второе лето. Кто-то сказал: играет на баяне. Надо послушать. С ней, может быть, и стоит познакомиться? Нет уж, рыбачить будет некогда. На мотоцикле можно прокатить. Если, конечно, согласится... Согласится.

Очередь отстояли, купили билеты. Лимонаду в буфете выпили. По стакану. Денег – по два – не набралось. Кино заначки наши разорило. В библиотеке побыли. Библиотекаршей в клубе мать Гали Бажовых работает. Наталья Николаевна. Галя ее сегодня подменяет. Все же хорошая девчонка. Еще была бы чуть смелее. Взял почитать Эрнста Хемингуэя. Писатель классный. «По ком звонит колокол». «Прощай, оружие!». «Старик и море». И Джона Стейнбека. «Зима тревоги нашей». «Гроздь гнева». Рыжий сказал, что книг он летом не читает. Оба и в сельской мы записаны. Рыжий туда давно уже не ходит: «Тятя Стендаля искурил библиотечного. Думал, куда девалась книга? Дескать, валялась... На столе-то». Где мне достать теперь такую, мол? Анна Степановна – с той не пошутишь. И встречи с нею избегает. Сдай ей какую-нибудь взамен, говорю. По той цене же. Сдам, говорит. Все обещает. Обещалкин.

До бильярда не добраться – мужики в него на пиво состязаются. Шумные: двенадцать кружек на кону. Стерлядка вяленая, небольшая. Принес кто-то. Бутылка водки спрятана за шторой. Мы усмотрели. Одна, такая же, уже пустая, в углу стоит, возле бачка.

Свет в зале погас, кино пустили.

Места все заняты. Да и стоят еще чуть не впритирку. Как в переполненном автобусе. Ладно, на месте клуб стоит – не едет.

Протолкались мы к одному из свободных еще подоконников, где поджидал нас Вовка Балахнин, на подоконнике пристроились. Смотреть можно, только ломить к концу сеанса шею начинает – к экрану боком столько посиди-ка.

Титры идут пока, а все уже смеются – чудную *троицу* припоминая. *Мам-мам-бирьяк*. И много что еще. Когда уколы-то им ставят...

Наизусть знаем. И все равно. Смотрел бы и смотрел. *Спортсменка, комсомолка, просто красавица*. Еще бы.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз... Рыжему будет что теперь орать – надолго хватит. «Я, – говорит, – еще мелодию не выучил». Совсем забыл бы про нее.

Грустно, когда заканчивается. Но всему время приходит, как говорит мама. Расстались Шурик с Ниной на экране. А мы – с ними. Шурик-то – ладно, с Ниной – без охоты, чуть не с отчаянием.

Взрослые разошлись. Молодежь осталась. Начались танцы под радиолу. Мы отказались в этот раз играть. Никто не стал нас и упрашивать. Пластинок много, всяких разных, меняй только. Есть неплохие. *Звездочка моя ясная, как ты далека от меня...* Были бы «битлы», было бы лучше. Но «битлы» только на катушках. А в клубе нет магнитофона. Из дома вряд ли кто потащит – вещь дорогая.

И старшим *наше* подавай, им *заграничного* не надо. Дескать, «битлы» нам ваши не по вкусу. Большое горе.

Ушел домой я, хоть и не хотелось.

Молока попил, в гараж подался. Включив приемник, о Ларисе вспомнил. Сердце *заныло*. Как у мамы. Кстати – как раз симфонию передают. Скрипки да флейточки. Виолончели. Для сна – нормально. Спать только лег, слышу, высвистывает меня с улицы Рыжий. Так только он свистит, ни с кем не спутаешь. Как соловей-разбойник – пуще. От его свиста *шуба заворачивается* – так говорил Иван Захарович. И добавлял: «Всю жизнь свою, варнак, просвиш-шэт... Я яво вижу наперед: из-за тюремной пялится решетка... Ох, и зряшной уж парнишонка».

Вышел за ворота.

– Ну? – говорю.

– Приехали! – говорит Рыжий, а сам, как медная блесна, песком натертая, сияет.

– Кто? – спрашиваю.

– Да эти... девки-то.

– Какие?

– Да переписываемся с которыми.

– Ты, – говорю.

– Чё я? – спрашивает.

– Переписываешься.

– Я. И ты сначала-то... сам отказался.

Мода у нас такая завелась. Узнают как-то или от кого-то девчонки имена и фамилии мальчишек из других деревень и предлагают переписываться. И мне одна прислала из Черкасс – Ялани выше по Кемі тут – письмо с предложением дружбы и с настоящей просьбой отправить ей мою фотку – чтобы хоть представлять, что я такое и как выгляжу. Дуся Тюрюмина – какая-то. А другу – Таня Чурускаева, ее подружка, из Черкасс же. С подобной просьбой-предложением. Мы никогда их и в глаза не видели, даже не знали, что такие есть на белом свете. Есть, оказалось.

Сфотографировал я сам себя со скорченной физиономией и сведенными нарочно на носу глазами – страшнее некуда, как и задумал, получилось – и послал Дусе портрет этот на вечную память. На том общение и прекратилось. А друг мой с Таней продолжают переписку. Как-то еще по почте не влюбился. Но письма все-таки хранит – недобрый признак. Люська Маркелова к сестре своей уехала в Исленьск – по ней скучает. Хотя она ему и не давала повода.

Они-то, Таня с Дусей, и приехали.

– Да не пойду я. Спать уж лег.

– Нигер, ты чё?! Совсем рехнулся?

– А как, не выспавшись, поедем?

– Тогда и я уж не пойду.

– Ты, Рыжий, мертвого упросишь.

– Истома, ты заколебал.

Оделся я. Пошли мы.

Улица в мураве – идти по ней пружинисто, но мягко – как по *персидскому* ковру; вот и идем мы, чуть пружиня.

Туча скатилась за Ислень. Уперлась в Кряж, упругим боком в него вмявшись. Розовая. Как будто Бог ее облил малиновым вареньем. Чтобы не ослепляла белизной. Раскосматилась ее макушка, растрепалась. Она, другая ли гремит. Далеко где-то – глухо и высоко проносится по небу рокот.

Небо раскрасилось – от золотого до лазоревого.

В низине чибисы кричат. Утки раскрякались на лужах – чем-то обеспокоены. Пугает кто-то их. Быть может – кошки. Где только летом те не бродят. Подобно диким.

Ерошка наш гуляет где-то целый месяц. В лесу, может? Поди, уже и не живой.

Старики и старухи на месте – им не спится. Есть, что вспомнить, есть, что обсудить. Дорога торная – не вязнут – беседа их не прерывается. И мы у них под зорким наблюдением – уши у Рыжего зардели; свои не вижу, чувствую – горят.

Лишь самых древних в избы увели – за это время уж проветрились. Помнят они, где были только что, не помнят ли – загадка, в которую и вникать страшно.

Дымокуров прибавилось; дымки расширились и уплотнились; с ними туман готов смешаться – после не различишь их и по цвету.

Солнце уже над самым ельником. Когда закатится оно, его короной увенчает. Скоро корона потемнеет – как будто патиной покроется; сколько-то времени спустя и вовсе сойдет. Чуть не на сутки.

А Камень долго еще будет озаренным – день там длиннее, чем в Ялани.

Мужики возле клуба. *Женатики*. Человек тридцать. Громко разговаривают и смеются. Лица у них, как кирпичи, красные. И не только от заката. Чубатые. Виски и затылки у них стриженные. Не как у нас. Мы для них – *хиппи волосатые*.

Побреют, в армию-то загребут.

Пусть тогда бреют, нам до лампочки.

«Длинноволосые, как Меровинги», – говорит про нас наш учитель истории Артур Альбертович Коланж, бывший наш классный руководитель, ушел на пенсию недавно, но подстричься не заставляет.

Кружки пивные висят на штaketнике. Пустые. На солнце – как лампочки. Надя, буфетчица, их после соберет.

Штaketник целый и покрашен – драк давно не было в Ялани. До проводин или встречин. До первой свадьбы.

И так, помню, бывало, что починить-то его, штaketник, после драки успеют, а покрасить до следующей – нет. Может, и краски жалко было – выжидали. Рассудительно. К весенним праздникам покрасили – стоит нетронутый вот, невредимый. Как бы не сглазить.

Глупый вопрос от мужиков:

На скачки, мол?

Рыжий:

– На скачки!

Ноги коверкать, мол?

– А вам-то что?!

Смешно и тут им – не уймутся; июнь – работой не загружены – до сенокоса, до уборочной – тогда уж станет не до пива им, не до веселья беззаботного, и день и ночь будут *пахать*.

Вошли мы в клуб.

С улицы. Пока привыкли к полумраку, присмотрелись.

Все как обычно.

Скамьи-сиденья убраны из зала – часть их в фойе теперь стоит, другая часть на сцене нагромождена. Только вдоль стен оставлены – для тех, кто любит посидеть, есть и такие – *наблюдатели*. Зачем приходят? Уж и торчали бы со стариками на завалинках, чесали б с ними языки. Одна им радость – пошущукаться. Пусть себе, думаю, мне не мешают.

Яблоку упасть негде. Шейк и твист – кто на что горазд и как у кого получается *коверкать ноги*. С утра такую разминку, весь день бы бегал как заряженный. Скрипят подошвы. Пол качается. А чаще – танго. Тут уж обычно: топчись на месте, прижимайся. Те, кто умеет, и вальсируют. Вальс не для нас – не признаем. Играть – играем. Когда просят. Не *кобенимся*. «Дунайские волны». «Амурские волны». «На сопках Маньчжурии». Тогда Вовка Балахнин, наш солист, кладет гитару и берет аккордеон. На нем он – мастер. Надо и мне бы научиться. Звучит красиво. Трогает за живое. Чуть не сказал опять: за душу.

Еще и этот: *Снова цветут каштаны, слышится плеск Днепра...* – по обязательной заявке Усольцева Сани – служил он в *Киевском военном округе*, а дембельнулся год назад – *напоминает*. Слезой сверкнет, когда чуть выпьет. «Голова, – говорит, – кружится. А то бы тоже». Что *то бы тоже*? Смешной он, Саня. Но не злой.

«Осенний сон». «Березка». «Грусть». И без названий. Музыка, конечно, задушевная, а танец – для *старикашек*.

Галя Бажовых на сцене. Сидит возле радиолы, пластинки ставит и меняет. Какую закажут. Не танцует. *Не в настроении*, значит. А жаль. Глаза у Гали серые, большие. И грустные. Хотя сама она всегда всем улыбается. «Хорошая девушка, – говорит про нее моя мама. – Там и по родове смотри, дурных-то не было». А папка: «Шибко уж смиренная, тихая». Бойкие нравятся ему, как говорит он, боевые. А мне – чтоб умная была. Ну, и красивая, конечно. Галя – такая – соответствует. Но мы знакомы с ней чуть не с рождения, с яслей, и отношусь я, как к сестре, к ней. Кафку зимой еще ей дал. Пока молчит. До осени вернет. И не понравится, но дочитает. Любит Есенина, Тургенева и Гончарова. Надо ей предложить Рамона дель Валье-Инклана. Так, чтобы Рыжий не узнал. А то потом не даст покою. И мне, и Гале. Я-то знаю.

Раскрыл и прочитал недавно в *книжице*, без корочек, которую мама прячет в комод под бельем: *Но потаенный сердца человек, в неистлении кроткого и молчаливого духа...* – это о Гале. Так мне представилось. Хоть и не очень-то понятно. Дух должен гордым быть у человека. Ну, в смысле – воля.

Окна шторами закрыты – от солнца. Солнце закатится когда, тогда – от белой ночи. Кто же при свете-то танцует? Малолетки.

Ну, если твист и шейк еще, так ладно.

Дусю и Таню сразу отыскиали. Забились они в самый угол – робкие – стесняются, из маленькой деревни. Ялань для них – почти как город. Не удивительно.

Остановились они у Дусиной родственницы – Таисьи Егоровны Енговатых. Енговатихи. Фильм посмотреть, «Кавказскую пленницу». Есть у них там, в Черкассах, клуб, избенка небольшая, но кино им только по знаменательным датам привозят из Яла-ни – как подарок. Киномеханик Витя Сотников. Бывший одноклассник брата моего – Коляна. Ездит туда на мотоцикле Витя. Ставит там днем, чтобы в Ялань не опоздать к началу первого вечернего сеанса. Нашел в Черкассах и невесту. Женился вскоре. Видел ее я. Так себе. Скоро родит ему кого-то – с пузом.

Приехали они, Дуся и Таня, на одни сутки. Завтра уедут. Было б на чем, сегодня бы домой вернулись – так нам сказали. Мы им верим. Про мотоцикл свой я и не вспомнил. И как-то Рыжий промолчал.

Знакомых, кроме Таисьи Егоровны, нет никого у них в Ялани. А мы им вроде как обязаны – и нам их надо развлекать. И любопытно в то же время, кто же нам дружбу предлагал. Теперь вот видим. И им, девчонкам, интересно: кого же выбрали они для переписки. Дуся меня узнать не может по *портрету*. Лучше на фотографии, сказала, выгляжу, чем в жизни. Это в отместку. Я доволен.

Современное они не танцуют: мол, чё попало. Дождавшись танго, мы их пригласили.

Но сразу как-то перепуталось – само как будто по себе:

Я стал танцевать с Таней, а Рыжий – с Дусей. И до конца так. Ни разу *дамами* не поменялись.

Забыл я вдруг про Нину из «Кавказской пленницы». Забыл про все. Даже про то, что надо выспаться перед поездкой на рыбалку.

Платье на Тане ситцевое. Голубое. С короткими рукавами. С открытым воротом. Сидит красиво. Папка сказал бы: будто влитая. Руки у Тани загорелые. Волосы русые. Пряди в них светлые – как золотые. Фигура стройная. Держу за талию – тугая та и тонкая.

«Как прут, – думаю, – она, гибкая».

И танцевать с ней так легко – как с невесомой.

Вот тут уж, точно, трудно стало мне дышать – впервые. Понятно стало, что это такое. Сердце в груди как будто увеличилось – стесняет. Но как-то странно – не болит. Хотя и кажется, что может вдруг остановиться, – но вот и это даже не пугает.

Заглохла радиоло. Свет на сцене погас. Станция работать перестала. Ни для кого не секрет: пьяный Винокур ее заглушил, обидевшись на тетку Марью, жену свою, – опохмелиться та ему не разрешила. Часто случается. Бить Винокура за его вредность пробовали мужики – без результата. Такой у нас вот дизелист. Нести ему туда, на станцию, бутылку белянкой или ну, на худой конец, уж красенькой на этот раз никто не согласился.

Танцы прекратились. Завклубом Леня Соболев, как его все ни уговаривали, клуб закрыл, домой ушел: утром ему с отчетом в город ехать. Отчет! К жене домой, наверное, заторопился – привез с собой какую-то со службы, то ли хохлушку, то ли белоруску. Хоть и на Галю все поглядывает. Но бесполезно. Гале такой старик не нужен – ему уж скоро двадцать пять. И лоб с залысинами – *вумный*. Заочно учится в каком-то институте. Чтобы *кружками управлять*. Не Леня Соболев, а горе.

Вызвался Рыжий проводить Дусю. Та согласилась. Пошли они в Линьковский край, в самый конец его, в заулок, где Енговатиха живет, вроде как ведьма – на отшибе. Но только вроде. Старушка она, Таисья Егоровна, на самом деле, хоть и маленькая да сгорбленная, но сердобольная – *всех привечает*. Зверь к ней зайдет, мол, и того, крохой последней обделив себя, покормит, в тайгу голодным не пошлет.

Отстали мы от них с Таней, к Кеми направились. Кемь и в Черкассах, правда, та же самая. Забыл я как-то. Яр только ниже. Показал. Побывать там долго комары нам не позволили.

В село вернулись.

Несет меня, чувствую, как барона Мюнхгаузена, – Ялань, как древний Рим, перевозношу, ее славную и почти четырехвековую историю, чуть привирая, вкратце излагаю, – и не могу затормозить. Язык мой мне не подчиняется. Слушает мою безостановочную экскурсионную речь Таня молча. Улыбается. Глазами на меня вспыхивает – земля уходит из-под ног моих. Со мной такого не бывало. Даже тогда, когда влюбился в медсестру. Даже тогда, когда – в Ларису.

Меня как будто подменили, и сам себя не узнаю.

Давно уже кругом гремело и сверкало. По горизонту. Обложило. И тут, в Ялани, началась гроза. Да и какая. Сначала ветер сильный налетел. Обрушился. Из всех сил потрепал в школьном парке и в палисадниках деревья. Но не сломал. Сорвал пыль с дороги, клубя ее, с ней и умчался. Затихло как-то угрожающе.

Взял я Таню за руку – повод так ладно подвернулся, – и побежали мы к школе. Под карниз только стали, и дождь полил как из ведра. Косой стеной – карниз нас не спасает.

Закрываю собой от дождя Таню. Пальцы у нее тонкие, теплые и мягкие, как воск. Сколько держу – не расплавляются. И я молчу теперь. Что и скажу, не слышно будет. Но и оно, молчание мое, меня как будто распирает.

Промокли на нас – на Тане платье, рубаха на мне.

Школа закрыта. Полы и парты, знаю, в ней покрашены – мы сами красили. На практике. Краска уже, конечно, высохла.

Выставил я стекло в окне. Забрались мы в спортзал.

Сидим на спортивном мате. Как Шурик с Ниной на скале. В «Кавказской пленнице».

Зал освещается от частых молний. Успеваю за время вспышки разглядеть обращенное к окну лицо Тани. Вижу и в темноте его потом – как отпечатанное. Ничто и никогда еще мой взгляд к себе так сильно не притягивало – не отвести. Ну, разве только поплавок удочки, когда рыбачу. Там – другое.

На ней платье, на мне рубаха – высохли.

Легли. Сначала я. Потом она.

Лежим. Рядом. Как будто умерли – недвижны.

Только я что-то говорю – чтобы не думать.

Как будто падаю – о времени не помню.

Гроза утихла. Небо просветлело. Зорька на севере зазолотилась.

Ветерок за окном качает ветви кедра, тихо скребут те по стеклу – как будто что-то сообщают. Срываются с крыши крупные капли – шлепают внизу звонко. В кедре ожили воробьи – чирикают.

Глаза у Тани зеленые. Как мурава. С черным ободком. Ресницы длинные, густые.

Нос прямой, тонкий. Я рисовал всегда такие. В школьных тетрадах и в учебниках. И тут как будто воплотилось.

Смотреть на губы ее не могу – отваги, чувствую вдруг, не хватает.

Рука моя под головой у Тани. Занемела. Не убираю.

Волосы ее ощущаю – мягкие. Мылом душисто от них пахнет – не надышусь.

Небо заалело. Солнце взошло. Таня в лучах его – красивая уж вовсе. Словно явилась из мечты. Или из книг прочитанных. С высот каких-то.

Голос – такого я еще не слышал. Жаль только, мало говорит.

– И дождь закончился... Пора?

– Пойдем.

Выбрались мы из школы. Вставил я на место стекло. Проводил Таню по не проснувшейся еще Ялани до дома бабушки Таисьи. Пообещал Тане скоро к ней в Черкассы приехать.

В жизни таким я не был – не в себе. Тело мое, но я не в теле будто – опережаю или отстаю. Меня как двое. Другой – как новый я – мне незнакомый.

Пришел домой. Разделся. Только, кажется, лег на раскладушку в гараже, и уже будит меня мама.

– Рано поднять велел. Вставай, рыбак. Скоро и пять уже. А может, не поедешь?

Поднялся я. Из гаража вышел.

Петух меня уже караулит. В боевой позе. Скребет когтями по земле.

Пугая рубашкой, прогнал его за ворота. Слышу, победно закричал там. Ну, и кричи ты.

Поточной водой в бочке – полная после грозы набежала – помылся.

Сижу на кухне, завтракаю, сонный.

Рыжий является. Нашел меня на кухне. На табуретку сел рядом. Ждет.

– Есть будешь?

– Нет. А я давно уже проснулся.

– Молодец, – говорю.

– Ты со своей поцеловался? – спрашивает. – В губы?

– Нет, – отвечаю.

– И я нет, – говорит Рыжий. – Рано ушла, грозы вдруг чё-то испугалась. Вы тоже рано разбежались?

– Да, почти сразу.

– Зачем тогда и приезжали?

– В кино.

– В кино?

– Не знаю, Рыжий. Помолчи.

– Ты ешь скорее, пошевеливайся.

Вовка Балахнин подкатил к дому, звенит велосипедным колокольчиком.

Вышли мы с Рыжим на улицу. День что надо – замечательный – щуриться с радостью заставляет.

Балахнин веселый, как всегда. Выспавшийся.

Сели мы на велосипеды, помчались.

Оглянулся я. Вижу:

Мама стоит возле ворот. В дорогу нас перекрестила.

«Пусть», – думаю.

Из Ялани выехали.

В лесу свежо. От птиц шумно. Как на ярмарке. Комары сразу тучами на нас накинудись. Закрылись мы от них сетками. Руки намазали «Дэтой». Паутов и слепней нет – грозой их убило.

Еще не жарко.

Трава мокрая от прошедшего ночью дождя. Вода набралась в кеды. Хлюпает.

С велосипедов слезли, на Ендовище поднялись. На Ялань посмотрели – среди тайги безбрежной – одинокая. Сердце от вида защемило – родина. И там изба есть – Енговатихи – еще и это стало вдруг значительно.

С Ендовища к Красавице начали спускаться. Спуск длинный – не меньше километра. Педалями не крутим. Притормаживаем.

Слышу, орет Рыжий:

– Вчера ты так спешила, когда мы расставались, что на прощанье слова я не успел сказать!..

Мотив совсем другой, не этой песни. Или мне снится?

И просыпаюсь от удара. Свернул нечаянно с дороги, в сосну въехал, упал в огромный муравейник. Соскочил. Ничего не понимаю. От муравьев отряхиваюсь машинально.

Рыжий и Балахнин стоят, хохочут надо мной. Они-то как тут оказались?

Пришел в себя. Смотрю на друзей. Животы надрывают – уж так им весело.

И я смеюсь. Наверное – от счастья.

В жизни моей случилось что-то удивительное – вспомнил.

– Я буду петь, чтоб ты не спал, – говорит Рыжий.

– Ори, – говорю.

Двинулись дальше.

– Куба – любовь моя! Остров зари багровой!..

Не врет Рыжий на этот раз, мотив вдруг правильно выводит – песня такая – исказить ее непросто.

Солнце из-за деревьев прорывается. Его лучи, минуя комаров, на личинке сетки искры высекают.

Все меня радует.

Ликую.

Часть первая

Посещение первое

День в разгаре. Погодистый. Как говорил Иван Захарович: «Не день, а фильма... в клубе-то чё кажут, эту – ленту; ишшо и лутшэ – сиди, смотри, любуйся, безо всякого, билет не надо покупать... От той, поди, и голова, боись, закружится – мелькат-то шибко, мельтесит. А тут... Тока изменчиво... как месяц, – скажет Иван Захарович, куда смотрел, оттуда отвернется и, глядя под ноги себе, добавит: – Пряро-ода, язви бы в яё... К нянастью клонит – кости извертело. Не жизнь, а мука».

Папку спроси: как, мол, денек? – ответит: *Красный, как собака.*

Не спрашиваю. Вообразить трудно. Как Бесконечность. Представлю собаку, дня не вижу, представлю день – собака исчезает. Еще и красная, к тому же.

Не знаю, как у папки получается – сводить их вместе? Умеет как-то. Может, когда-нибудь и научусь.

Я так скажу:

Июль. Каникулы. День. Солнце.

Так вот еще бы не пекло, не жарило. А то – как в кузнице. Одно спасение: сидеть в речке, как лось, и не вылазить. Лосю-то вольно. И мне такую бы свободу.

С утра было ни облачка. Теперь появились. Возникли. Разрозненные. Почти не движутся. Как декорация. И солнце не загораживают. Редко какое наползет: само – на солнце, тенью – на Ялань. И хорошо, что долго не сползает, – пусть хоть немного, но прохладней. Одинаковые – как икринки. Будто кто-то, сидя за ельником, вымётывает их на небо или, как мыльные пузыри, их выпускает из соломинки. Сел бы, прихватив с собой бинокль, на одно из этих облаков, поплыл бы на нем куда-нибудь. С возвратом. Сверху округу осмотреть бы. Не исполнимо. Правда, во сне иной раз и летаю. Не над Яланью. Где-то. В чужих неведомых краях. В жутком пустом и неприветливом пространстве. И чаще падаю со страхом, чем летаю. И еще один *нехороший* сон мне то и дело видится. Без изменений. Как когда-то раз и навсегда отснятый, теперь только прокручивается. Медведь. Будто я, ужасом объятый, убегаю от него по безлюдной Ялани, на нашу баню по углу начинаю спешно вскарабкиваться, а он, медведь, уж тут – хватает меня за ноги. Кричу во сне я, просыпаюсь, от страха долго после отхожу. К чему снится, не знаю. Мама говорит: «Это грех поймать тебя пытается – ты не даешься. А не рассказывай свой сон, и больше он не повторится. Я вот, если и вижу иногда какой, утром не помню их, они мне и не снятся». На это папка, рядом вдруг окажется, так ей ответит: «Все это, баба, ерунда на постном масле. Сон он и есть сон – глупость. Заспанный ум, он и городит всяку чепуху, покуда не очнется. Так же, как пьяный, тот – пока не протрезвет. То приплетет сюда и грех еще какой-то». Мама не спорит, улыбается.

Вспомнил – Марфа Измайловна так говорила:

«А ну-ка дай сюда эту штуковину... куды смотреть-то?»

Возьмет в руки бинокль, рассмотрит его со всех сторон, к глазам приставит. Подержит долго. После скажет:

«Просто одними-то глазами лутшэ ишшо вижу... тут все как смутно... и как глядеть-то, не пойму... как бытто в шшэлки куды пялюсь».

Сидит рядом Иван Захарович, муж ее, не преминет:

«Вот это дура-то, дак дура объявилась, свет каких ишо не видывал, однако», – скажет так и трубку сосать начнет с остервенением – трубка как будто виновата. Взглядом отвернется. Не куда-то – в никуда. Умел смотреть так дедушка Иван. Глаза у него были старые –

научились. Цвета какого были? Никакого. Чтобы сравнить, больше нигде такого цвета нет в природе для примера.

Вступил я с улицы в ограду. Только что. На крыльцо не поднимаюсь. Возле ворот, как странник нищенствующий, топчусь. Блудным сыном себя чувствую, хоть и ни в чем вроде не провинился и так уж долго не отсутствовал – туда-обратно. И отлучался, отпросившись. Папка всегда внушает мне такое чувство почему-то. И отпрапортовать ему всегда хочется: «Товарищ командир, рядовой Истомин из самоволки прибыл».

Молчу. Не рапортую.

– Ты, – минуты три или четыре спустя, ко мне не оборачиваясь, говорит папка, – далеко, парень, не уходи.

– А чё? – спрашиваю.

– А ничё, – отвечает. – Скоро пойдем срезá точить к Арынину. – И будто сам уже себе: – Камень у него добрый. Срезá любым-то не возьмешь... Вон у Чеславлевых – тот тока мылит... Рыхлый.

«Ну, – думаю, – затянется это надолго».

Срезóв штук двадцать, не меньше, и точит их папка всегда тщательно, не поторопится. Как и все делает, если за что-то уж берется. На каждый срез – минут пятнадцать – минимум. По пять минут на грань – у среза три их. Да и с Арыниным поговорить... Тот не упустит. И медовухи если еще вынесет. Тогда до самого заката...

«Пропало дело».

Я буду крутить точило и подливать воду в корыто – работа не тяжелая, но времени отнимет много. Не до утра бы... Если – с медовухой.

– Ладно, – говорю. И думаю: «Жаль, что попался на глаза».

Живем не в разных городах – как не попасться.

– Пчел они, Арынины-то, пока смотрят – не пойдешь к ним, – говорит папка. – Ох, скотский род! – По пальцу себе стукнул. На ушибленное место не дует, не глядит, потряс рукой только – боль с пальца, как возгрю прилипшую, смахнул; занятия своего из-за такого пустяка не оставляет. И рассуждает сам уже с собой: – Магазины небось ставят... Будет, не будет нынче медосбор?... Такое пекло. Иссушат. И тут – в тени хошь, но – как в бане.

Пчел дядя Саша Арынин с Васькой, сыном своим, моим ровесником, проверяют. Медом пахнет. Под-плавленным воском и прополисом. Да палеными *губами*. Это грибы древесные сухие, что в дымарь кладут и поджигают. Трут березовый, иначе.

Пчелы звенят слышнее, чем обычно, – раздраженные: надо, пока погода позволяет, мед таскать, запасы делать – им мешают.

Весь над Яланью воздух исчертили: одни с полей, другие на поля – без отдыха, без передышки. Еще *танцуют*. И ночью крылышек не покладают – выйдешь на пасеку, послушаешь – не спят: о детке хлопочат, заполненные нектаром соты воском запечатывают. По крышке улья, подойдешь, стукнешь пальцем – заворчат. Стукни сильнее, постой – получишь от *охраны*. И ночью даже.

Труженицы – говорит о них, о пчелах, мама. Работяш-шые – говорит о них папка. Не то что некоторые, дескать, – трутни. Пальцем не ткнет, указывая, но ясно, на кого намекает. Так намекает только, но не думает. Надеюсь.

У нас тоже есть пчелы. Двенадцать ульев – даданов, как говорит Арынин дядя Саша. Папка и мама ими занимаются. Вчера только проверили и на корпуса с *сильными семьями* магазины поставили. «Пятый и третий слабые, – говорит мама, – хошь бы себя-то в зиму обеспечили». Папка – *подручный пчеловода*. Мама – знаток – когда-то *малой была еще, а тате подсобляла*. Но для него, для папки, трудно подчиняться – спорит. *Стоит на своем*. Как за правду. Мама его не посрамляет, но *дело гнет* по-своему всегда. «Да, Коля, так, но сделаем мы эдак». – «Тобой, Елена, лед долбить бы. Пешня-то добрая бы вышла». – «А ты

дыми, не отвлекайся. Пчелы вон лезут». – «Не слепой». Ну, не слепой, так и следи, мол. И каждый раз – как по сценарию. Спектакль. Ружья в нем нет, в спектакле-то, и не стреляет. После работы, за чаем, *пасеиная* тема обсуждается ими, *главным пчеловодом и помощником*, уже при полном благодушии. Папка тогда со многим соглашается. Если еще и медовухи кружку перед чаем *примет*. Он произносит: медоуха. Я ее пробовал – *сластит*.

А у Арыниных, у тех ульев сорок – *па-а-асека*. Ваське не позавидуешь.

Я, как и Васька, не люблю *ходить* за пчелами. Как наказание. Слежу и за роями. Не по собственному, конечно, желанию. Не из любопытства и любознательности. По принуждению. С избы. Пункт наблюдательный на крыше. И загораю заодно там.

Папка под навесом. В красной клетчатой рубаше навывпуск. В калошах на шерстяной носок. В носки заправлены штанины – чтобы мошка не лезла *вездесущ-шая*. В кепке. Когда-то черной, теперь бурой – так она выцвела от времени – *демисезонная*. Сидит он, папка, на чурке. Спина ко мне. Ржавые гвозди из старых досок выдирает. Все вытащит, выпрямлять их, прикусив от усердия губы, на обухе топора молотком станет. Гвоздей этих у нас – хоть открывай торговлю ими – *колониальную*. Есть еще кованые – вовсе древние. Папка их, четырехгранные, ценит дорого – *на вес золота* они у него. Шляпки у них широкие, дескать, – забивать куда будешь, не промажешь, и не сгибаются, чуть тока тукнешь по нему... как нынешние – *это... и чё в них за металл?.. Будто люминий*. Лежат они, граненые, в отдельном ящике. *На случай*.

На какой?

Мама интересуется, переживая: «Ты их на чё, Коля, копишь?.. Эти закорюки. На какое лихолетье?.. Досок не наберешь по всей Ялани, все вколотить-то; только – в землю».

Один на то ответ у папки:

«Запас кармана не дерет, баба, сгодятся... Веш-то оне – необходимая. Чё с имя будет – не прокиснут. Ходить – за них не спотыкаться. Лежат себе да и лежат».

«Что не прокиснут, это точно... Но хлам-то всякий собирать?..»

«Опять и выдумат, опять и ляпнет... Уж гвозди в хлам определила. Тогда и чё, потвоему, не хлам, мне объясни-ка».

«Да ведь не это же жалезо. Пуд их уже насобирали».

«Чё понимала бы... туды жа».

Безветренно. Висит на веревке белье – как мертвое; сморщилось – как от удушья.

Жара. Градусов сорок. В тени. На солнце – с лишним – обед без печки приготовить можно. Глазунью – точно.

На провисших электрических проводах, рассевшись тесно, ласточки щебечут. Ввысь не взмывают – стерегутся.

Вверху – только коршун. В заоблачности. Как черточка передвижная. Тому и зной не препона. И не страшится крылья опалить. Как безрассудный. Перья не воском склеены, а то бы... Марфа Измайловна бы так сказала: «Летат, хишный, канючит – у Божаньки пить клянчит. Иной воды не потреблят, кроме как тока дожжэвую. А заодно выискиват цапушек, будь он неладен... караул тут. Камнем падет – не уследишь. Схватит цапленочка и молон-ней умчится... На то он создан, чё поделашь». – «Здря тока стонет: чё поделашь!.. Взjala бердану-то да шибанула бы. Или своим убоистым аружьем – таким-то страшным. Чё, язычишком не пульнешь?» – не пропустил бы мимо ушей, не упустил бы возможности съязвить на это добродушно Иван Захарович. Обычно. Как день с ночью меняются – обязательно. Добавил так бы: «Ох, и дура». Это – любил ее он, дедушка Иван бабушку Марфу, очень – после Рыжий пояснил мне. Привык он, дескать, к ней – как к трубке. Одну – из рук и из рта, другую бы из глаз не выпускал, мол, с языка.

Без перепалок их – тоскливо. Это – как ельника не стало бы вокруг Ялани вдруг – похоже.

Были мы с Рыжим на Кеми, купались. Хорошо. Классно, как говорит Рыжий. Но мало. Сутки с реки не уходили бы, наша бы воля. Ночи теплые, *парные*. Вода прогрелась так, что и к утру не охлаждается. Не в Бобровке – родниковой – в той-то что летом, что зимой. В Кеми – как щелок – мама бы сказала. Марфа Измайловна произносила: ш-шолок. Полы, мол, раньше мыли *ш-шолоком*, в ём и тряпицы, дескать, *ш-шэлочили*. Отвар золы – весь тебе щелок.

Вспомнил и будто услышал грудной голос ее, Марфы Измайловны, бабушки Рыжего. Опустело без нее на белом свете. Обеззвучило значительно. В околотке нашем – совсем уж. «Вовка-а, ты де?! Куды вот, пакась, задевался?! Возился тока что тут, как опарыш. Надоедал, мешался под ногами. Суп уж налит давно, остыл – яво все носит где-то лихорадка! Пятки-то стопчет, дак узнац-ца, Божанька камнем саданет по пустобрышной головенке, дак и отбегат». А Вовка, будь он поблизости и если слышит, все равно себя не обнаружит – *помурыжит баушку маленько*. Теперь откликнулся бы сразу. Сломя голову кинулся бы на ее зов – так думаю. «Счас, – признавался мне, – я с ней бы не был таким вредным». Снится, говорит, она ему. Часто. Будто заботится, что он тут, внук ее, голодный. Но, мол, глядит не грустными глазами. «Проснулся ночью как-то, – говорит, – и слышу, всхлипывает кто-то, плачет... Ну, ё-моё!.. Да это сам я... Как будто баушку на фронт забрали, а меня дома за дедушкой следить оставили. А я бы с баушкой на фронт хотел».

Посреди ограды, в старом, дырявом цинковом тазу, разведен дымокур. Возле него, на мураве, вывалив на нее слюнявый, сверкающий на солнце, как стекляшка, язык, лежит Буска. Дрыхнет. Без задних ног, что называется. Папка пойдет мимо – разбудит. Непременно. Не пнет, а *торкнет*. Не любит, когда кто-то – если сам он, папка, бодрствует – спит в это время. Такой характер. Буска не обижается. Как на грозу. Смирно уйдет и ляжет так же за оградой. Нервы у него крепкие – уснет тут же. Мама говорит про Буску: мол, не гордый. А папка: дескать – дурачок.

С другой стороны таза стоит петух. Как памятник. Смотрит: одним глазом – на кобеля, другим – под навес. Меня игнорирует. Чуть прибалдел, наверное, от дыма – взгляд мутный. Как у снулой рыбы. Не удивлюсь: если завалится он кверху лапами. Представил. Жалко даже стало.

Думаю: «Если он, наш петух, не нападает на папку, значит, помнит, что ему от папки достается. Хоть и плохонькая, но есть, получается, у него, у петуха нашего, память. Не безнадёжно, значит, глупый. А если есть у него память, то и обучить счету его можно. Хотя бы до трех... Заняться, что ли, на досуге?... Продемонстрировал бы Рыжему... Собак и кошек обучают же».

Воробы в глубокой чугунной сковороде оставленное курами просо доклевывали расторопно. Я вспугнул их ненарочно – улетели. Но вернутся – не чужие.

Дым, как лунатик, бродит по ограде. То там, то здесь, как теплым лбом теленок сытый в пах коровий, ткнется и отступит. Или в заплот, или под стреху. То вдруг расстелется плашмя, словно заискивая перед кем-то, к муравке жмется – ту дурманит. Путь вверх забыл, где выход, ищет ли, и не найдет. Хоть перед ним, беспомощным, ворота открывай и выводи его на улицу. Или все проще: уходить не хочет. Ну тут в укрытии – ему спокойней.

Кукиш на него соорудил в кармане, чтобы папка, вдруг обернувшись, не увидел, и про себя, чтобы он, папка, не услышал, заклиная: «Куда фи́га, туда дым».

Не единожды повторяю, напрягая силу воли. Как Вольф Мессинг. Повелеваю ему, дыму. Безуспешно. У костра, на речке, получается. А тут не действует заманка.

«Пусть уж здесь, – думаю, – мается-мotaется. Мне не мешает. И в небе чище будет без него. И он не зря копит, в конце концов, а служит».

Кукиш отставил.

Большой черный, продолговатый, как подсолнечное семячко, и длинноусый жук, *волосогрызца*, гудя надсадно, как перегруженный самолет, с трудом прорезался сквозь знойный

воздух над оградой и залетел со всего маху в густую березовую листву – как завалился. Но взрыв за этим не последовал. Да и береза устояла.

«Ого», – думаю.

У них там, в кроне, база перевалочная. Аэродром ли запасной. Возможно. Это не первый жук, замеченный на этой трассе.

В детстве такими вот девчонок мы пугали. Ох уж трусихи, и визжали. Им что жука, что мышь, обычную или летучую, что жабу или ящерицу покажи – всего боятся. Змею – подавно. Есть и такие: пучки, которую борщевиком где-то называют, трусят – одна не выйдет в огород, лишь с провожатым. Не зря девчонок называл Иван Захарович... и не скажу как.

Вертолет стрекочет. Настоящий. То ближе, то дальше. С раннего утра. *Пожарный*. Где-то тайга, наверное, горит. Пока не видно из Ялани. Ветра нет – и не наносит.

На вертолете полетать бы. Знаю, куда направился бы сразу. На Таху. И до Черкасс бы можно было прогуляться.

В самый зной мы не окучиваем. Отдыхаем. Сейчас на поле-то – зажариться.

Зашел в избу. Прохладно. Благода-а-ать, как говорила Марфа Измайловна.

– Благодарь, – говорю.

Мама на кухне, окрошку готовит. Ботун ножницами стригла – им и пахнет вкусно, аппетитно. Бутун – у нас так произносят.

Взял хлеба горбушку. *Оржаную*. Посолил ее. К двери направился, слышу:

– Ты далеко не уходи.

– А чё? – спрашиваю.

– Обедать будем.

– Ладно, – говорю.

– Куски таскашь.

– Да корки чё-то захотелось.

– Нет, чтобы сесть нормально и поесть как человек. Смотри, жалуток-то испортишь...

Ешь всухомятку.

– Не испорчу.

– Поговори с таким... Он не испортит. Люди-то до тебя не жили будто... Все, как беда, наперекор.

Из избы вышел. Стою на крыльце. Корку жую – во рту тает. На солнце жмурюсь. Плахи крыльца нагрелись – пусть и не зло, но ноги обжигают. Терплю пока, не обуваюсь. Вижу:

Картина не изменилась. Как на фотографии. Всё и все на прежнем месте, в том же, что и несколько минут назад, положении: воздух, ограда, папка, Буска и петух – время для них остановилось будто. Дым только – тот все так же, вольно или невольно, но явно нехотя, разоблачая ход времени, из угла в угол, как арестант по камере, шатается, а из ограды ни на шаг. Дождется ветра – тот прогонит. Как на прогулку. Папка? – вроде все тот же гвоздь вытягивает из доски.

Еще и воздух: дышется так же им, как и дышалось. Придумал кто-то: *душно, душно*.

Корку догрыз. Кеды обул. Через заднюю дверь в сених, чтобы в ограде не мелькать и на работу лишнюю нечаянно не напроситься, тихо, как мышь, подался в огородчик. Встав столбиком, чтобы не привлекать к себе внимание пчел, понаблюдал за ними: от ульев пулей улетают, а на леток садятся тяжело, значит – со *взятком*. Качать скоро будем. Я не большой любитель меда – ну, с молоком еще и свежим, *своедельским*, хлебом, – а папка может и парного ковшик выпить. Мало кто в этом с ним посоревнуется. Не хватит духу. Я-то и двух глотков, наверное, не сделаю – стошнит.

Залез с тылу по лестнице на крышу дома. Крыша пологая – желобниковая. Устроено тут у меня что-то вроде штаба-шалаша, временной, летней, резиденции. В палисаднике большая вековелая береза – много над крышей возвышается. Два толстые и ветвистые сука ее

– живые, конечно, не отрубленные – разметались по желобнику. Между ними у меня, как между стенами, лежанка. Уютная. Другие сучья сверху – *кровля*. Вместо двери и занавес повесить можно – марлю – и комарам не будет доступа свободного. Если не льет дождь или не дует сильный ветер, и ночуй тут. Есть у меня гараж для этого, конечно, с раскладушкой. В том уж надежно. Как в избе. Только вот звезд не видно из него – не помечтаешь так, как под открытым небом. Под обнимающей Вселенной. И Млечный Путь тебе – как одеяло. Звезды – как цапки над кроватью. Мог бы сейчас и дом себе – ну, например, на берегу Кеми, подальше от Ялани, – построил бы. В нем-то уж был бы полный сам себе хозяин и управитель: хочешь – пришел, хочешь – ушел; спать надо – лег, не надо – не ложись; вздумал читать – читай хоть до рассвета. Никто к тебе с контролем не заявится.

Сначала выспался бы как положено – в своем-то доме. Суток бы двое провалялся. А то и трое. Пока желудок бы от голоду не подвело.

Старый, мхом уже взявшийся скворечник на березе, метра на два выше крыши. Дуплянка осиновая. Вроде обычная. Дуплянка и дуплянка. Издалека-то посмотреть. Но скворцы в нем, в этом *дворце*, сразу почему-то поселиться отказались и по сей день стороной его, словно пугало, облетают. Живет семья в нем воробьиная. Не выгоняю. Папка давным-давно скворечник этот мастерил, еще я в школе не учился. И даже помню, как он его приколачивал. Много тогда я слов, мне не известных, от папки услышал – про все на свете. То молоток забыл, то гвоздь упал на землю. То *чё-то лестница уходит из-под ног*. С таким-то грузом. Приколотил зато – вовек не отвалится, а понадобится – и отрывать придется только ломом или трактором. «В нем, Коля, – говорит мама, когда речь заходит о скворечнике, об этом именно, – медведю впору зимовать – такой просторный. В него и шкаф наш затолкать бы». – «Глупость не городи, – ей тогда папка отвечает. – Ладный скворешничек, удобный теремочек». – «Ну, теремочек этот свалится – и порешит еще кого-нибудь, кто в тот момент внизу, на грех, окажется... не человек бы, Господи не приведи... и не скотина. Из чурки выдолбил – конечно. Дров бы хватило на неделю». Свою оценку придержу. Но скрыть что-нибудь негромоздкое в нем, в этом скворечничке, думаю, при случае можно запросто – рука моя в него пролазит; до дна достать бы. Проверить надо – вдруг там Колян когда-то что-то и припрятал, после забыл, с дырявой своей памятью. С *девичьей*, мама бы сказала.

В *штабе* у меня бинокль, транзистор, бутылка с квасом – скоро, пожалуй, закипит – жара такая; пробку выбьет. Простой карандаш. Тетрадка чистая – вдруг стих придумаю, так надо будет записать. И – книга.

Включил приемник. Музыка – *симфония*. Пусть, думаю. Другое что-то лень искать. Да и найдешь что – одни хунвейбины. Вечером лучше ловится, а ночью – вовсе. Тут как-то слушал Тома Джонса. Вот голосище. «Лайла» – особенно. Играем мы ее. Слова к ней сами сочинили. *Лайлу* оставили – красиво.

Лег я. Навзничь. Смотрю.

По липким и запашистым листьям березы ползают, то выпрямляясь в палочку, то выгибаясь в фигуру какой-то греческой буквы, омега, что ли, или конского хомута, небольшие зеленые гусеницы и многочисленные, похожие чем-то на овечек, тли – и эти тоже под цвет листьев. Маскируются. В вершине птички гомозятся. Мелкие мушки мельтеят. Одни других, кажется, не стесняют – всем места хватает. И мне они не докучают. Лишь бы за шиворот не лезли.

Прикоснись к ней, к гусенице этой, пальцем или травинкой чуть ее задень, тут же замрет, будто подойдет, в какой бы позе в это время ни была она, даже такой, в какой не умирают.

Летит турбореактивный самолет, оставляя за собой, как он обычно это делает, белый, узкий, двухполосный след. С востока на запад. Летит – как снаряд – не виляет. Другой, такой же, – этому наперерез – с юга на север. Как будто небо делят на четыре равных сектора. Зачем-то. Один – вдоль нашей параллели, второй – вдоль нашего меридиана. Сами-то чудом

разминулись, но вот отставшие от них звуки лоб в лоб столкнулись прямо надо мной и смялись в кучу, так что теперь не разберешь, чей где, какой ли от какого. И самолетам горе – онемели.

Жду, не посыпались бы на меня обломки гула – не оглушили бы меня.

Нет, разметало их по небу. И то на секторы не развалилось. Все вроде ладно.

Хорошо – день, хорошо – жить. Хорошие в Ялани люди. И Ялань очень красивая.

Хорошо и тут, на крыше. Мне нравится. Пункт наблюдательный что надо. Чуть ли не вся панорама села и его округа просматривается. Кроме Балахнины и Половинки: одна на маковке горы – недосыгаема для взора – за Куртюмкой, другая – около Бобровки – скрыта ольшаником и пихтачом. И если смотреть отсюда, а не с земли, то Камень, кажется, над Кемью круче нависает – *так чё-то кажется*, выразиться по-чалодонски. Его откосы можно разглядеть. В бинокль. А на них лося или коз диких заметить. Пока еще не удавалось. Но, может быть, когда-нибудь укараулю.

Еще береза бы Линьковский край не заслоняла, тогда б и вовсе. Мирюсь: она мне – как родная. Папка спилить хотел ее – мы были против. Как-то еще послушался он нас. Сильно и сам он сваливать ее, пожалуй, не хотел. Поэтому.

Петь хочется.

Обнимая небо крепкими руками...

Сдерживаюсь. Петь люблю громко. Да и встать для этого придется. Папка услышит обязательно, быстро подыщет мне занятие. Он говорит: *Душа поет – работы просит*. Я не согласен. Петь можно и по другой причине. Можно и без причины, просто так. Это – не плакать.

Взял книгу. Открыл на закладке. Читаю:

«Потом был запах примятого вереска, и колкие изломы стеблей у нее под головой, и яркие солнечные блики на ее сомкнутых веках, и казалось, он на всю жизнь запомнит изгиб ее шеи, когда она лежала, запрокинув голову в вереск, и ее чуть-чуть шевелившиеся губы, и дрожание ресниц на веках, плотно сомкнутых, чтобы не видеть солнца и ничего не видеть, и мир для нее тогда был красный, оранжевый, золотисто-желтый от солнца, проникавшего сквозь сомкнутые веки, и такого же цвета было все – полнота, обладание, радость, – все такого же цвета, все в такой же яркой слепоте...»

Интересно. Но:

Три дня подряд уже не высыпаюсь: ложусь поздно, а поднимаюсь раным-рано – окучивать картошку. В сон меня клонит, чуть прилягу. Опустив на грудь книгу, начинаю сладко, грезя прочитанным, задремывать, сквозь дрему слышу – стукнули ворота. И голос Рыжего, едва не сразу:

– Дядь Коль, здравствуй, а Олег где?

– Тут где-то был... не на избе ли? Здорово, парень. – Голос папки. – Как там отец?

– Нормально вроде.

– Песни-то пел?

– Маленько было.

– Ну, значит, ладно.

Скрипит, вскоре слышу, лестница. Смотрю.

Появляется из-за кромки крыши знакомая рыжая голова, шарят по крыше желтые, как у кота, глаза. Остановились, на меня наткнувшись. Думаю мельком про него: «Наглец».

– Черный, – говорит Рыжий.

– Ну? – говорю.

– А чё ты тут, на крыше-то, разлегся?

– А чё, нельзя?

– Жара такая... Заболеешь.

- Ну, заболēju?..
- И помрешь.
- Тогда тебя возьмут в ансамбль... играть на нервах.
- Я на губной гармошке буду... можно?
- Да хоть на чем, когда помру.
- Ты чё, на солнце перегрелся?.. И так – как нигер. Негров в Ялани не хватало...
- Ступил Рыжий на крышу. Ялань из-под ладони осмотрел.
- Ого, – сказал. К чему, не знаю.
- Подошел ко мне после, подсел рядом.
- Эх, – говорит.

Шея, лицо и руки у него красные, как наш петух, словно их Рыжий обморозил. Нос обшелушенный, как боб. Веснушки на лице и на руках фиолетовые, как его же, петуха нашего, гребень. Волосы на голове, как сено в не обтесанной еще копне, топорщатся во все стороны. Рыжий, он лишь для пожилых и старых *волосатик*. Для нас-то – нет, коротко стриженный. Он бы и рад, знаю, отрастить, как мы, до плеч волосы, и уже пробовал, но растут они у него не до, а вдоль да поперек, и сам Рыжий становится тогда похожим на Незнайку, с Луны упавшего, или на Карлсона, свалившегося с чердака. И если про нас можно сказать, что мы *отпустили* волосы, то про него – нельзя. Не *отпускает* он, а *выпускает* их. Как еж – иголки – в обороне. «Тебя б, онуча мятая, в алтирелию отдать, – говорил про Рыжего, про своего *мнука*, его дедушка Иван Захарович. – Пушки б тобой, башкой твоей, на фронте чистить вместо шомполу, лутшэ-то способа и не придумашь... Раз в тыш-шу лет такая напась рōдится, не чаш-шэ. И не у нас, а где-нибудь... в Явроп-пе. Тут и Ялань сподобилась – имет, а мне – дак горе».

В белой футболке друг, в черных, уже линяющих и растянутых на коленях трико в китайских, как у меня, кедах и в пилотке из газеты.

- Квас, чё ли?.. Можно? – спрашивает Рыжий.
- Он, – говорю, – горячий, пить не станешь.
- Да ладно... дома уж обпился.
- Чё тогда просишь?
- Жажда мучит.
- Мучит, так пей.
- Унес бы, остудил.
- Взял в руки книгу. Открыл, захлопнул. Говорит:
- Дай почитать. Хе-мин-гу-эй.
- Обойдешься, – говорю. – Ты мне еще Ремарка не вернул.
- Заколебал своим Ремарком, афронигер. Я тебе где его достану?
- Хотя бы корочки.
- Отстань... Ну и печет... Ты и не знашь, как сёд-ни я перепугался...
- Не знаю. Кто бы мне сказал?

– Жарит, как в Африке, в Сахаре... Слышал вчерась, по радиу передавали, солнце падает на Землю. Скоро погибнем. Все. Ишшо приблизится немного. Вспыхнем, как пух. Сгорим. Разом бы шмякнулось – и все... чтобы нам долго тут не мучиться. – Приемник выключил и говорит: – Как заведут свою шарманку... Можно облезть.

- Уже облез.
- Как будто путних песен мало... Ах, чудеса, чудеса...
- Все, Рыжий, хватит... Так и чё?
- Чё так и чё?
- Перепугался ты, и чё?

– А, да, – говорит Рыжий. – Иду от Вовки Прутовых. С горы спустился. А слева лыва-то была возле Куртюмки, на балахнинском берегу. Грязь там осталась. Вижу, из грязи пузыри... Газ, думаю, выходит из земли. Может – метан, может – бутан, может, открытие я сделаю научное... Взял тонкий прутик, тычу в эти пузыри... Оно как выскочнет, как хрюкнет... я чуть в штаны не наложил.

– Кто?

– Я.

– Да выскочнуло...

– Представляешь?.. Кто, кто... Свинья. А кто ж ишшо... Не я же хрюкнул.

– Мог и ты... если в штаны маленько не нагадил.

– Тебя туда бы, я бы посмотрел...

– Но ведь не я, а ты там оказался.

– Кто ж мог подумать... Грязь как грязь.

– И я прутом не тыкаю куда попало.

– Куда попало!.. В пузыри!.. Ты бы не ткнул?.. Я же не знал, – говорит Рыжий. – Я думал – газ. Тебе бы, чё, не интересно стало?

– Интересно... Хороший, – говорю, – интерес, в штаны к тебе чуть не залез. Или залез?

– Заколебал, Истома!.. Чушка. Я ведь сказал. Чё повторять?! – Когда Рыжий начинает сердиться, ноздри у него делаются прозрачными, как крылья майского жука. – В грязи скрывалась от жары, целиком в нее, как карась в ил, зарылась... Один пятак оставила снаружи – дышать ей надо.

– А-а, – говорю.

– Ну, – говорит. – Дошло.

– Дошло. Ты точно утром не в трико был. Помню.

– И чё?

– Да так.

– Лужа обычная – и пузырится... Прошел бы мимо?

– Не прошел бы.

– Ну, вот.

– Мог бы реакцию цепную вызвать.

– Как?

– В каждую дырку нос суешь. Аж облупился.

– Не нос, – говорит Рыжий, – а прутик.

– Вдруг – только ткни там прутиком, и – началось бы, – говорю.

– Чё б началось?

– Война.

– Ага.

– А оказался бы, – говорю, – это американский перископ, просунутый с той стороны земли в Ялань, а не пятак свинячий, и ты б его испортил своим прутиком...

– Ой, не болтал бы, – говорит, – то как старуха... На танцы вечером пойдешь?

– Картошку надо доокучить. Какие танцы...

– Я думал, вы уже закончили.

– Взял да помог бы.

– А в Черкасы?

– Пока не знаю, – говорю.

– Ну, узнавай скорей. Узнаешь – скажешь, – говорит Рыжий. И говорит: – Ага, помог бы. Я вон свою, почти один, четыре дня окучивал, натер мозоли. Глянь-ка, какие волдыри...

– Нашел, чем хвастаться... Девчонка.

– Да я не хвастаюсь, а объясняю... Шибко уж надо, помогу.

– Уже не надо.
– Ну, как хочешь... Если решишь, не вздумай без меня уехать.
– А ты там нужен?
– Зла на тебя, Истома, не хватат. Я же ведь к Дуське, не к твоей. И та ж была моей сначала, а не Дуська, зря уступил тебе ее...
– Ладно, посмотрим. Как получится.
– Уж пусть получится. Ну, я пойду.
– Давай. Счастливо... С папкой среза точить сегодня еще надо будет.
– У нас?
– У вас точильный камень рыхлый...
– А, у Арыниных... Понятно... Ладно, пошел я, – говорит, вставая, Рыжий. – Мамка окрошку приготовила. Тятя не любит долго ждать. Не в духе с самого утра. Не с той ноги, наверное, поднялся?
Пошел Рыжий. Спрашиваю:
– А Люська как?
– А чё Люська? – не оглядываясь, отвечает Рыжий. – Люська как Люська. Люськи нет. Тебе, Истома, чё за дело?
– Да так, за друга беспокоюсь.
– Ты со своими разберись.
– Было бы с кем.
– А фотку чью повесил в гараже?
– Это актриса, Пола Ракса.
– Ой, не смей меня, то упаду счас.
– Падай.
– Кому другому бы брехал... Если уедешь без меня, – говорит Рыжий, поставив ногу на ступеньку лестницы и повернувшись ко мне лицом, – проткну, когда вернешься, шилом обе камеры у мотоцикла. Потом поклеешь.
Взгляд на березу кинул после и сказал:
– Продай скворечник.
– Покупай.
– Я в нем от тяти водку буду прятать... А то вчера мне спать не дал... Уж как затянет свою песню...
– Он хоть поет...
– А я?
– Трубишь.
– Трублю?!
– Как лось.
– А сам-то... Этот, Пол Маккартни... Уж помолчал бы.
Скрылся Рыжий. Поскрипел лестницей. Хлопнул: сначала калиткой в огородчике, после – воротами в ограде. Уж от ворот неслышно удалился – звуки шагов его в муравке потерялись – им в ней, наверное, уютно.
«Родину и памятники отечества не продаем», – подумал я, посмотрев на скворечник. Затем открыл книжку на другой закладке. Читаю:
«И он стал думать о девушке Марии (Тане), у которой и кожа, и волосы, и глаза одинакового золотисто-каштанового (глаза зеленые, волосы русые, с соломенными прядями)... оттенка, только волосы чуть потемнее, но они будут казаться более светлыми, когда кожа сильнее загорит на солнце, ее гладкая кожа, смуглота которой как будто просвечивает сквозь бледно-золотистый верхний покров. Наверно, кожа у нее очень гладкая и все тело гладкое, а движения неловкие (неправда!)... как будто что-то такое есть в ней или с ней, что ее сму-

щает, и ей кажется, что это всем видно, хотя на самом деле этого не видно, это только у нее в мыслях...»

О чем она сейчас думает?... Она ж не мне – ему писала письма... Рыжий свой нос письмом ее заклеил, и я пытаюсь прочитать... мешает кто-то...

Слышу сквозь сон:

– Олег! Ты где? Иди обедать!

Спустился с крыши. Из огородчика вышел. Вижу:

В ограде, не считая Буски и петуха, трое: мама, папка и дядя Ваня, родной мамин брат. Иван Дмитриевич Русаков. Были еще и воробьи, в сковороде сидели – упорхнули; за воротами теперь чирикают – о том, кто проса больше стырил, – о чем еще-то?

– Ваня, ты как приехать-то решился? – спрашивает мама. – В кои-то веки, – и смотрит она, затенив ладонью от солнца глаза, на брата так, словно сто лет прошло у них с последней встречи, и признает его с трудом – так он как будто изменился. – Как же надумал?

– А вот, надумал, милая моя, – отвечает ей, радостно улыбаясь, как ребенок, дядя Ваня. – Пока не начали косить, дай, решил, съезжу, попроведаю. Потом-то некогда уж будет... не соберешься.

– Ясно, – говорит папка. Согнутый в скобу большой, ржавый гвоздь в руке держал, пелехтал, так бы он сказал – в карман рубахи его спрятал. – Потом куда уже поедешь – работы столько... в сенокос-то... не до разъездов.

– А там – картошку уж копать.

– А там – картошка.

– Как отпустили-то тебя? – спрашивает мама. – А как там Клава?

– Как не отпустят – отпустили, – отвечает дядя Ваня. – Нормально – Клава... Чё ей будет? Ходит, шавелится.

– Ну а дети?

– Живы, Еленушка, здоровы дети...

– Слава Богу.

– Слава Богу... Ох, и давненько я вас всех не видел, стосковался, – говорит дядя Ваня, оглядывая нас по очереди. – Там, от своих, уж гаму больно много. Передохну от них малечко. Еслив, конечно, разрешите. Я ненадолго...

– Ваня, да будет уж тебе, – говорит мама. – Сколько захочешь, столько и живи. И не заботься.

– Незванный гость – хуже татарина, – говорит дядя Ваня. – Машина шла сюда – я и надумал. А не машина б, и не знаю...

– И чё еще за церемонии... Да, год-то не был, – говорит папка. – Уж и не с лишним ли... Это когда?

– Да, в прошлом годе, Николай, – говорит дядя Ваня. – Я к вам приехал на Девятое... Как раз... Мы же Девятое с тобой тут отмечали. Не помнишь, чё ли?

– Да помню, помню, как не помню. Мы же тогда к тебе потом уехали. Там, у тебя еще... В избу пойдем, – меняет папка тему, – чё здесь стоять, среди ограды... В избе прохладней.

Несмотря на жару, дядя Ваня в черном суконном костюме, который несколько лет назад подарили ему, купив в складчину, его сестры и надевает который он *тока по великим праздникам, важным датам и счастливым событиям, а так в шкапу висит обычно; после отдам, наследую кому из ребятишек, тот пусть донашиват его*. Штаны со стрелками, заправлены в кирзовые сапоги. Сапоги не блестят, хоть и дегтем густо смазаны – запылились. На голове у дяди Вани черная же, под цвет костюма, кепка-восьмиклинка, как у папки, с пуговкой наверху, сдвинута лихо на затылок. Чуб мокрый – ко лбу кистью прилип. Рубашка под пиджаком синяя, в белую полоску. Горло под воротником – как будто морсом клюквенным облит

– так загорело. Один карман пиджака оттопырен – находится в нем что-то. И что конкретно, можно *сдогадаться*.

Буска, чуть оторвав, словно с усилием отклеив, от муравы заспанную морду, обвел собравшихся в ограде соловым взглядом, будто убедился сквозь дрему, что ни хозяевам, ни ему самому ничто не угрожает и немедленной помощи от него в данный момент не требуется, в траву обратно мордой вмялся и, закрыв ухо лапой, уснул снова. Если, конечно, просыпался. Кому лафа-то. Видит во сне он что-то боевое – всем телом, как лягушка от электрической процедуры, дергается. В сновидениях своих, наверное, отважный. Да и в жизни он не из трусливых, не дает спуску сородичам. Не зря им папка гордится. Очень уж не нравится ему, папке, когда чьи-то собаки мутузят нашего, да возле нашего ж еще и дома, хуже всего – у нас в ограде; любит, когда – наоборот. Буска его не огорчает: чужих собак в ограде нашей не увидишь. *К людям вот, жаль, блажен* – его же, папкины, слова.

Петух, выбежав на громкий людской разговор из темного двора в заполненную солнечным светом ограду, замер, как чучело, возле калитки. Одним зрачком – на нас, другим, чтобы не упасть, – в стенку уперся. Чем-то он Рыжего мне все-таки напоминает. Не только цветом. Что один, что другой – забияки. Но в этот раз рассчитывать ему, нашему драчуну, не на что, зря размышлялся, – ни на кого не кинется при папке. Так, истуканом, простоит. Папка его присутствием своим парализует, как Василиск или Горгона.

– Оле-ега, – говорит нараспев дядя Ваня. – Родной ты мой, иди, обнимемся... Не шибко тока, то задавишь.

– Здравствуй, – говорю, – дядя Ваня. Хорошо, что приехал.

– Ну, хорошо, плохо ли, – говорит дядя Ваня, – узнаю после, когда уезжать соберусь или когда вы меня прогонять дружно станете, а то я это... как начну тут...

– Ох, чё тако ты, Ваня, говоришь! – прерывает его мама. – Почему мы тебя прогонять-то станем? Уж не выдумывай...

– Ну, это, мало ли, я так... а то приехал...

– Да прекрати, Иван, затеял чё-то, – говорит папка. – Зачем же зря-то...

Подошел я, подставился – обнимает меня дядя Ваня, как девку, тискает – крепкий. Водкой от него пахнет – понятное дело. Одеколоном – от *кустюма*. Дегтем – от сапог. Еще и этим... нафталином. Щеки у дяди Вани впалые. Щетина на них черная с проседью двух-или трехсуточного возраста – колется. Глаза у дяди Вани от радости, наверное, слезятся – *на мокром месте* часто у него они бывают – он *соболезный шибко уж до всех и на всякое постороннее горюшко, как эхо, отзывчивый*. Поджарый дядя Ваня, конституция у него такая – как у охотничьей собаки. Промысловик он, дядя Ваня, *фартовый*, в округе известный. Берет зверя *скрадом*.

– Ты у меня, дружок сердешный, – говорит дядя Ваня, – из всех племянников племянник драгоценный. Вот, честно слово, счас заплачу. С утра глаза чё-то чесались... Ого, как вырос... с прошлого-то года. Дядю, смотрю, уж обогнал. Вы, молодые, – говорит, – вверх, к небу, тянетесь. Мы, пожилые, книзу клонимся – земля к себе нас пригибает, чтобы обратно глину из нас сделать... ей будто глины маловато. Ну, чё поделаешь, так устроено.

– Да, – говорю. – Знаю. У тебя все, дядя Ваня, самые драгоценные.

Смешно смеется дядя Ваня – два раз всхлипнул.

– Я по дороге уж немножко... Пришлось с шофером, как откажешь... Ну, все не все... Ты всех дороже, – говорит дядя Ваня. – Ну, может, черный, дак поэтому. Я-то гляжусь маленечко светле. Так мне сдается... Еще война чуток подзакоптила.

– Он же и загорат как ненормальный, – говорит мама, будто оправдываясь, – до синевы... Накинь рубашку. Это же вредно – столько быть на солнце.

Надел я рубашку. Пуговицы застегнул. До воротника. Стою – руки по швам – как солдат перед офицером.

– Другое дело... Петух – и тот не ходит голый вон.

– Молодые растут, – говорит папка. – Мы старём.

Словоохотливым вдруг стал. Что необычно. Это как снег сейчас пошел бы, так же внимание бы привлекло. И привлекает. Мое и мамино – по ее взгляду замечаю. Понять можно: умом настраивался он, папка, на одно: к сенокосу надо готовиться, – а тут отмена тяжким думам, да и с отсрочкой им, что важно. И у него, у папки, щетина на лице такая же, как у дяди Вани, – тоже дня три, наверное, не брился. И завтра, думаю, до бритв они не доберутся.

– Да, чё, уж разве и старём? – говорит дядя Ваня. – Стариться рано нам пока. Мы еще это...

– Рано не рано, – говорит папка, – но не молоденьки уже.

– Что не молоденьки-то – точно. И слава Богу. Да ты-то чё-то, Николай... вижу я... это... Ну, тока волосы – мукой ли, мелом ли будто присыпал... Как боровик, еще ядреный, – осмотрел папку, прищулив глаз, через слезу, възгравшую на солнце, перевел взгляд дядя Ваня на меня и говорит: – Чуток уж космы-то подстриг бы. А то... как девка... со спины-то.

– Ага, – с ходу подхватывает папка: большая тема для него. – Пообрастали, как собаки. И чё им нравится – вот так-то? Позорят тока. Глаза мои бы не смотрели.

– А ночью, будет спать, мы их ему маленько подкарнам, – говорит, весело всхлипнув, дядя Ваня. – Они тебе, ли чё ли, не мешают? А где в лесу за сук имя, своими лохмами, зацепишься? В лес-то идь ходишь?

– Да.

– Ну, вот.

Стою. Думаю: *Среза, значит, на сегодня отменяются. Хорошо это или плохо, потом узнаю* – за дядей Ваней будто повторил.

– Ну, чё, пойдём?

– Пошли.

– Давайте.

Гуськом, скрипя ступенями, поднялись на крыльцо – дядя Ваня первым, я последним, – темные сенцы миновав, вступили в избу.

В избе свежо. А после улицы – и вовсе. Окна – от солнца – занавешены.

Усталым хором гудят за желтыми ситцевыми шторками на стеклах окон пауты и осы – пленные – между собою не дерутся. Мы к ним привыкли и обычно их не замечаем. Тут ради гостя:

Открыл я одно за другим три окна, ос и паутов выпустил, окна закрыл – чтоб комары не налетели.

Мама на стол, застелив прежде его новой, *празнишной* клеенкой, собирает. Принесла с кухни в большой деревянной миске крошку. Разлила из миски по тарелкам. Круглый, *домашний*, хлеб нарезала ломтями. *Харюзов*, добытых мной и привезенных с Тыи, почистила. Свежезасоленные. С чесноком, тмином и смородиновым, для твердости, листом. Не по-ангарски – без *душка*.

Папка достал из шкафа *поллитровку*.

– Как будто знал... вчерась с Еленой заказал – купила. Дескать, зачем? Зачем. На всякий случай, мало ли. И пригодилась. Теплая тока, – говорит. И говорит: – Ну, не спускать же ее в погреб.

– Хе, не картошка, – всхлипнул дядя Ваня. – Всегда должна быть под рукой. А вдруг чё с сердцем... вместо валеядолу.

– Эта получше будет всякого лекарства, – говорит папка. – Валеядол-то так это... конфетка.

– Оно – канешно... не чета, – соглашается с ним дядя Ваня. – Эта моментом поправляет здоровье.

Вынул он из кармана своего выходного *пеньжака*, пристроенного уже заодно с кепкой-восьмиклинкой на вешалке, такую же, *белую*, добавил к первой. Полнобовался будто ими, будто по росту их сравнил, по толщине ли. Сравнив, блеснул глазами одобрительно.

– Моя еще теплей, однако... Дак это сколь... Пока доехал... От дома самого, от магазина.

– Может, чуть охладить?.. На лед поставить в ямке?

– Ну, вот еще... И так, поди, сгодится. Холодной – горло простужать... Чтоб после кашлять... И ждать ее, пока остынет.

– Квас с ледника зато, оттуда же и харюзишки, – говорит папка.

– Куда уж лучше, са́мо то, – говорит дядя Ваня папке. И у меня: – Ты наловил, ли чё ли? – спрашивает.

– Я, – отвечаю.

– Молоде-е-ец, – говорит дядя Ваня. – Честно слово, счас заплачу... Ох и любил же в детстве я рыбачить. Пуш-шэ – на харюза – уж на того: чуть проворонил – и сошел, нерас-торопному с тем не управиться – проворный шибко. Лески вот не было тогда. На нитку. Сучили сами. Это же счас – всего полно, снастишки всякой. Ага, а волосы уж подстриги... То как с такими по тайге-то?..

– Елена, будешь с нами, нет? – спрашивает папка.

– Водки?! Вы чё! – отвечает мама с кухни. Как будто ей отравы предложили.

– А чё ты, выпей, милая моя, – говорит дядя Ваня.

– Она ж не пьет – со стопки станет пьяной, – говорит папка.

– Да знаю, – говорит дядя Ваня. – Но хошь немного пригубить?.. Один глоток-то. За свидание.

– Не буду, Ваня, – подходя к столу, говорит ма ма. – Вы без меня уж.

– С нами-то посидишь? – беспокоится дядя Ваня.

– Да посидеть-то посижу, – успокаивает его мама. – После полоть идти мне... в огородчик. А за свиданье квасом поддержу вас.

– В жару – полоть?.. Ну, хошь уж квасом. Хошь за мои-то именины.

– Да, у тебя же скоро день рождения.

– Да как не скоро, уж на днях.

Думаю: двумя бутылками сегодня они, папка и дядя Ваня, конечно, не обойдутся – в жизни такого не бывало. Значит, задача моя будет состоять вот в чем: вовремя смыться – чтобы гонцом не послужить – не по душе мне это дело.

Уважает папка дядю Ваню. Кого так еще, мало. И дядя Ваня к папке хорошо относится. Что тот, что другой – люди, как говорит о них мама, бесхитростные. Папке она: «Ты, Коля, прямой, как дышло. Чуть подкривить бы, лучше, может, было бы. Не для тебя, дак для людей. То по тебе хоть линию прочерчивай». Про дядю Ваню: «Он, Ваня, простой уж очень – последнюю рубашку с себя снимет и отдаст... своих голодными оставит. Где-то и поумне бы надо быть, о детях думать. Мед накачат – и всем раздаст, по всей деревне разошлет гостинцы. Мяса добудет ли – себе кусочка не оставит. У них запасов не ведется. Но как-то вот перебиваются». И так еще про брата говорила мама: «Ну, попиват маленько Ваня... И то: кто без греха, да и каку уж надо иметь волю, чтоб не запить-то?.. С такой-то жизнью, столько перенес».

Оба они, папка и дядя Ваня, фронтовики, и *запах пороху на них не ветром наносило*. Есть, о чем вспомнить и поговорить им, хоть и на многое расходятся их взгляды. Особенно – на Сталина. Здесь не расходятся, а – разбегаются. На время. Папка – коммунист, вступил в партию *под Курском в сорок третьем, на Дуге*, не в самое спокойное и *подходящее* для этого время. Дядя Ваня – из раскулаченных, как и мама, еще и *веруший маленький*. Поспоят, выйдут по отдельности на крыльцо, остынут в одиночку, после помирятся. Не *хватат*

их надолго. Про Сталина – волей-неволей возникает у них разговор – никак его не могут обойти. Заводить беседу про Бога *остерегаются*. Но тоже до поры до времени. *Пока шлея под хвост не попадет им*. Я не могу уверенно сказать, что папке Сталин нравился – никогда он о нем отрицательно или положительно, по крайней мере, при мне – не высказывался, но он, папка, не любит почему-то, когда при нем кто-то другой на него, на Сталина, словесно нападает, в *защиту* лезет. А дядя Ваня – тот *имя Йёсифа Виссарионича и на дух не переносит* и говорит: что *Сталин* то же, что *Сатаниил*, но *тока лишь замаскированный*.

Живет он, дядя Ваня, со своим многочисленным семейством в деревне Вахмистровой, в нашем же, Елисейском районе, не遠деке от Ислени. Одиннадцать детей у него. Шестеро сыновей и пять дочерей. Не всех их, моих двоюродных братьев и сестер, я и знаю, по именам только, не всех и видел. Старший, Степан, служит в армии. «Не баран чихал, – говорит дядя Ваня. – В десантных. С парашютом с неба прыгат». – «Ох, Господи! Спаси и сохрани», – говорит на это, вздыхая, мама. Папка вставляет: «Баба, Господь твой тут при чем?.. Уж не дури-ка, не вздыхай так». Следующей весной, в начале лета ли, Степан домой вернуться должен, дембельнуться, как говорят. Ждет его дядя Ваня: «Скорей бы, чё ли, уж пришел. Дом надо строить новый, в этом тесно». – «Придет, – говорит мама. – Никуда не денется». – «Да, вишь, Елена, в мире-то как беспокойно». – «Ну, беспокойно, Ваня, беспокойно... Оно и всё так. Спокойно-то и не бывает». – «Ну, это ясно... Уж пришел бы».

Дядя Ваня на четыре года младше мамы. «Ваня у нас тонул, – рассказывала мама. – Лет семь ему было. Ровно. Он же в Иванов день у нас, в Купалу-то, родился. В этот же день едва его не стало. В Кеми. Ладно, пастух на берегу сидел, увидел. Смотрю, потом-то как поведаль, мол, че-то красное плывет по речке, чуть не по стрежню. А Ваня был в рубашке красной. Запузырило на спине рубашку, вот он и плыл, уж захлебнулся, лицом в воде-то. Вытащил его пастух, откачали. Ваня мордушку проверял и оступись, с плиты там – в яму. Дна не достал и испугался. И хоть бы крикнул, а то молчком». Вспомнят мама и дядя Ваня об этом случае и скажут: «Не время было умереть, выходит». – «Да, не время». – «Все, значит, надо было испытать, чё наперед-то предстояло». – «Да, будто так оно и получатся». Поплачут оба, повздыхают. И маму после свою вспомнят, мою бабушку, Анастасию Абросимовну, и опять поплачут: *Могилка там ее сиротская* – в Игарке. *Тятя один остался с нами, мыкал горя* – снова всплачнут. Без слез оба уже плачут, *насухо* – умеют. Слезой-то так – только сверкнул – как обозначат.

В девятнадцать лет забрали дядю Ваню на фронт из Заполярья, куда они были *сосланы* и брошены там на *пустоплесье*. А воевать и он стодился, *эсплуататор несознательный*. Служил дядя Ваня в полковой разведке. Восемнадцать *языков* из-за линии фронта на себе принес. Трое из доставленных им немцев были офицерами. Одного, говорит, фрица, на загорбке у него застрелили. Они же, немцы, вслед палили. Так вражина жизнь ему, мол, спас. Знал бы, дескать, имя – помолился бы. *Молюсь: за немца, за таво*. Убил дядя Ваня своего же политрука из автомата – что-то сказал ему тот оскорбительное. Избавил командир полка его каким-то образом от расстрела. Но штрафбата дядя Ваня не избежал. Полный кавалер Славы. Все награды у него отняли. После войны сидел четыре года. *Дал по ш-шаке жане анкаведиста*. На первую годовщину Победы покупал дядя Ваня на елисейском рынке овощи на закуску, ухватил из бочки *в ш-шапоть капусты квашеной да и попробовал... на соль-то*. А стоявшая рядом женщина в норковой шубке возьми да и скажи ему: *Свинья, зачем руками-то хватаешь*, – может, и правильно сказала. А может – нет. *Но чем же брат еще ее, капусту?.. Всю жизнь руками*. Не сдержался дядя Ваня, от роду горячий да войной *взвинченный, еще от той не очурался*, и ударил ладошкой по лицу эту женщину. Упала та в лужу-проталину и испачкала китайские бурки и норковую шубку. И оказалась та женщина, как на грех, женой *краевого особиста*. Вот и вкатили дяде Ване, еще по-божески, четыре года, второй раз лишив

его всех боевых наград. Но дядя Ваня не в обиде. «Где отбывал?» – «Да под Хабаровском. С фронта на фронт как будто переехал. Полгода-то поотдыхал... между фронтами».

Не раз я это уже слышал. Все разговоры знаю наизусть. Не жду нового.

Сели мы за стол. Обедаем.

Папка и дядя Ваня выпили из граненых стаканов, чокнувшись, по первой – *за встречу*. Закусили молча. Теперь беседуют. О пустяках.

– Давно уж харюзков не пробовал, – говорит дядя Ваня. – Нежные... Зубов-то нет, дак в самый раз мне.

– Да это харюз разве – мелочь, – говорит папка.

– Рыбак нашелся – оценил, – говорит, улыбаясь, мама.

Папка доволен, раз так шутит.

И дядя Ваня в добром настроении.

В жару есть не хочется. Осилил я кое-как, отжав ложкой гуцу, тарелку крошки, из-за стола вышел.

– Спасибо, – говорю.

– А чё так мало? – спрашивает мама.

– Наелся, – говорю.

– Вы посмотрите на него, – говорит мама. – Вот еще тоже мне, мужик... наелся. И часу не пройдет, опять корки хватать станешь.

– Не стану, – говорю.

– Посмотрим, – говорит мама.

– Посмотрим, – говорю.

– Еще и спорит.

– Утверждаю.

Сел на диван. Слушаю вполуха. Не хорошо вроде – уйти сразу – не вежливо.

Папке и дяде Ване за столом я, думаю, не очень-то и нужен – они и словом не обмолвились об этом и задержать меня не попытались. Хоть и совсем бы про меня забыли – на сегодня, – в моих бы было интересах. Забудут – подсказывает мне внутренний голос, а он у меня слов на ветер не бросает.

О делах житейских они, папка и дядя Ваня, без моего и маминого участия, бегло поговорили. Затем о дровах на следующую зиму и о грядущем сенокосе потолковали. Трава – палит-то так, – чахлая или добрая, какая нынче уродится, погадали. О фронте начали беседу. Скоро у них на это переходит разговор – словно на крутом и мокром соскальзывает. Обычно: после третьего стакана, когда не чокаются. Ну, мол, давай. Дескать, давай.

Стаканы поставят. Не закусывают на этот раз. Хлебом лишь занюхают. Молчат после долго, словно обиделись друг на друга, на третьего ли на кого. Папка желваками двигает, будто стерляжий хрящик тщательно разжевывает. Дядя Ваня всхлипывает, но не смеется так, а – плачет, глаза тыльной стороной кулака промакивает. Выпьет когда достаточно, и слезы вроде появляются – хоть не бегут, но набегают.

– Ночь, – говорит. Скажет, помолчит – будто кого-то подождет. И дальше: – Темнотиш-ша. На ош-шупь. Чем бы не брякнуть. И там на чё бы как не наступить. В своей ограде бы, и то... В чужом же месте – незнакомом. Хошь и маленько представлям. Кого где опросили. Подходим к казарме. Часовых сняли. Я с одной стороны, Мишка Ступин, наш же, сибиряк, родом из-под Исленьска, из деревни, а, как и я же, призванный-то из Игарки, – тот с другой, с другого входу. В середине казармы встречаемся... А ведь его, прежде чем зарезать, разбудить надо, а то спросонья закричит... А так – как рыба, и не пикнет. Рот-то зажмешь ему, конечно.

Плачет дядя Ваня, всем телом дрожит – как в ознобе. Не смотрю я на него – отворачиваюсь. Тошно становится на сердце.

Говорит дядя Ваня:

– И их там не два, не три, а полная казарма, через проход кровать к кровати... А у какого-нибудь из них ведь, как вот и у меня теперь, столько же детей, может, там где-то оставалось... в его Германии-то этой.

– Ну, Ваня, – говорит мама, – всю-то уж вину на себя не взваливай... Они ж – враги... Ты ведь не ради ж там чего-то... Не на большой дороге развлекался... И ведь не ты к ним вторгся, а они к нам...

– Чё ж, что враги, ведь тоже люди, не все же нелюди там были, – говорит дядя Ваня, мотая головой, будто застряло в ней что-то, а он это что-то вытряхнуть из нее пытается, но безуспешно. – Без крови был бы, враг-то этот, другое б дело... без души.

– Ну, ты ж тогда мальчишкой совсем был, – говорит мама.

– Чё ж что мальчишкой... человек же... Ты поживи-ка теперь с этим, – говорит дядя Ваня.

– Жить все равно надо, – говорит папка.

– Ну, да, – говорит дядя Ваня, – живым в могилу не полезешь.

– Да-а, – говорит мама. И, по губам ее вижу, шепчет что-то – молится.

Папка тоже что-то вспомнил – свое. Глаз трет ладонью. Ладонь большая – как медвежья лапа. Крупный нос его отяжелел – к столу лицо-то будто тянет.

Смотрю на них, думаю: «Никогда, как они, водку пить не буду». Решил – отрезал.

О Сталине говорить принялись. Никак без него.

Встала мама из-за стола, пошла на кухню. Никто ее не останавливает.

Тут уж и я, со спокойной теперь совестью, диван покинул, вышел на крыльцо.

Буска спит. Похоже, крепко: даже то, что в нос ему дым лезет, не чувствует. Не бужу его. Пусть дрыхнет. Дым от навоза – не отравит.

Петуха нет в ограде. На улице, наверное. Был бы под навесом или во дворе, выскочил бы. На скрип двери-то – обязательно.

В небе коршуны. Парят. Как в невесомости. Крыльями крен лишь задают, не машут ими. И мне бы так же. Полетел бы...

Слышу:

Курица растится. Где-то. Будто за тридевять земель. Из-за жары – глухо. Снеслась, значит. Сама собой, простодушная, безудержно гордится. Вездесущая сорока, бочком пристроившись на узкой жестяной трубе бани, стрекочет. На всю округу – словно в рупор. О новоявленном курином яичке всех оповещает. Предупреждает ли: это мое, дескать, мое, я тут, мол, в очереди первая! Ага – захапала – не рано ли? Если найдет, сворует – однозначно. Надо опередить ее – дело не в жадности, а в чести. Что же тогда я буду за хозяин – если позволю своровать.

Знаю, где куры наши несутся. Направился в огородчик. Спугнув с трубы сороку, проверил в зарослях конёвника за баней гнезда, отыскал свежее яичко, выпил. С солью вкусней, конечно, было бы, да ладно, – за солью в дом опять идти.

Перелетевшей с трубы нашей бани на чеславлевский амбар, но не переставшей трещать белобокой ворухе показал кукиш. Язык – твой враг – так это про нее.

По лестнице забрался на крышу избы. В бинокль на Ялань и на Камень посмотрел. Видимость – не очень-то. Ялань пустынная. Как вымерла. Молодежь – на речке, взрослые – в прохладные закутки попрятались. Отсиживаются там или отлеживаются. Из-за *давления*. Камень – в сизо-голубом мареве – высится, не может отвернуть от солнца раскаленный лоб – страдает. Или – распарился, да – млеет. Ни лося, ни коз на его склонах и на этот раз не обнаружил. Может, когда-нибудь и сбудется – вдруг да увижу.

Отложил бинокль. Почитал после.

Задремал на полуслове, лицом в распахнутую книгу. Приснилось что-то, что, не помню.

Разбудил меня свистом Рыжий.

Сходили мы с ним на Кемь, искупались. Шумно на реке – весь плес в белобрысых преимущественно головах; какая с косичками и визжит – девчонка. И в разноцветных пузырях – надутых наволочках – плес-то.

Рыжий отправился к устью Бобровки – проверить закидушки – на язей их в омуте поставил. А я домой вернулся сразу: хоть и изменилась дома ситуация, но велено мне было далеко не уходить, надолго то есть, – исполняю.

В избу не захожу – разговор оттуда громкий.

Доносится:

– Ага, – говорит дядя Ваня. – Явился ты, например, с улицы, видишь, на столе тетрадка лежит, смотришь, задачка в ней решенная – написал кто-то. Чё понимаешь, не понимаешь ли, но начинаешь ты рассуждать: кто же решил ее, задачку эту? А там, в избе-то, никого. Ну, ты и думаешь: решила эту задачку, мол, изба, или сама она – тетрадка. Кто же, мол, кроме-то, раз никого нигде не видишь? Так же и с Богом, рассуждам мы. Глазами не обнаруживаем, не находим и говорим, что все это вокруг природа сотворила. А кто ее-то, милую, создал, эту природу?! Сама себя она, ли чё ли? Да ты подумай, Николай! Как же себя-то сам создашь ты?! Ты про себя-то мало знаешь чё, почему и как устроен, а то – про Бога...

– А чё тут думать-то, Иван?! – говорит папка. – Ну, скотский род, ну ты-то был же ведь на фронте!.. Ты видел все... Какой же Бог-то!.. Бог-то бы был, разве случилось бы такое?! Он же, по-вашему-то, до-о-обры! Добрей уж некуда, ага! Сам же вот тока что рассказывал!.. И я на трупы насмотрелся!.. Но!.. он, бедный, лежит, живой еще, глотат ртом воздух, из обрубков кровь хлещ-шет, к нему вороны уж торопятся... да мухи!.. И где ваш Бог, куда Он смотрит?

– Там-то как раз я в Ём и убедился!.. В Ём – что он есть! А до того так же, как ты вот, полагал!.. Тоже все думал: если был бы...

– Коля, Коля, – говорит мама. С кухни, наверное. На стол ли что-то принесла? – О чем другом поговорили бы.

– И ты туда же: Коля, Коля!.. Чё-то придумали себе, чё-то втемяшили, и это... Все по старинке, мать честная!.. Люди уж в космос вон летают, в науке делают открытия такие, и чё-то это... Чё-то про Бога-то молчат! Был бы Он где, дак уж давно бы сообщили нам! Тайна военная, какой секрет – чтобы скрывать-то?! Не смешите!

Не стал дальше слушать. И без того мне все понятно – девять классов за плечами. Да и давно уже не маленький – конечно. Я на стороне папки. Железно. Хоть у него, у папки, и – четыре, *по ликбезу*, и те условные – *в партию принимали, приписали*. Ну а у мамы и у дяди Вани – ни одного, даже *церковно-приходского*. Их в свое время и к школе близко не подпускали – как детей врагов народа – раскулаченных и расказаченных. Читать, писать, правда, умеют – *самоучки*. Зато после на лесоповале и на фронте они, и безграмотные, сгодились. Больно всегда мне рассуждать об этом. Почему-то. Разрываюсь: между любовью к Родине и к ним. Родина-то тут, может, и ни при чем.

Залез на крышу.

Рубаху не снимаю – загорать дальше уже некуда, и так как «негра».

Дух – как от веников распаренных.

Тень от березы.

Хорошо.

Ворона пряталась в березе. От кого-то – это вряд ли. Мало кого она, наглая, боится. Только ястреба. Но того поблизости не наблюдается. От жары, конечно. Словно чирей выдавленный, выпрыснула из березы – хлестко. Как только глаза на ветках не оставила да об сучья крылья не сломала. Врасплох застал ее, наверное, – сомлела. Нужна она мне, *большеротая*.

Так называла их, ворон, Марфа Измайловна. «На столб усядиц-ца в ограде прямо, больше-ротая, и ну орать во всю свою погану глотку – дразнить меня, бытто подружку. Взял бы ружьишко-то да стрелил, старый. Сидишь, к крыльцу уже прирос... Чтоб ей, холере, было неповадно», – скажет она, бывало, на ходу деду Ивану. «Ну, дык, ага! – ответит тот. – Мне акромья заняс-са-то и нечем, как по воронам ей пали. Людей смешить. Удумат тоже... Иван Чеславлев выжил из ума, и на ворон уже охотис-са... Заряд ишшо на пропасть тратить». – «Дак надоест жа, так горланит». – «А мне-то чё?.. Плюнь на яё – она отравис-са». – «С тобой, старик, как с пьяным, толковать». – «Ты наливала?» – «Пусь уж не дробью, хошь бы солью». – «Солью... Солью себя и заряди. Охотник – солью... Уж не позорила бы мужика. Выпить б дала, ишш бы, может, стрелил». А через минуту-две они о другом уже, слышишь, мирно разговаривают – о предстоящей страде или о погоде. Страда – не знаю, а погода у них теперь, у Марфы Измайловны и Ивана Захаровича, изо дня в день одна и та же, наверное, – не меняется. По радио про погоду на том свете не передают.

Включил приемник. Щебету китайскому повнимал. Музыки приличной, песен современных, прогоняя по всей шкале и по всем диапазонам бегунок, не нашел. Приемник выключил – послушал ласточек и воробьев – и то понятней.

Синева неба загустела – была белесой – настоялось. Жар спал. Тут же, взявшись откуда-то, и комары гудящим роем кинулись в атаку – будто лопатой кто их на меня швыряет. Злые – день-то голодом сидели. До кожи еще не долетел, толком еще не пристроился, а хобот свой уже втыкает. Не отмахнуться, не отбиться.

Спустился с крыши. Тяпку взял, пошел картошку окучивать. На помощь друга своего не надеюсь: хвастал, жаловался – мозоли мне показывал.

Мошка заедает, в нос, в рот и в уши лезет – во все дырки. Но в дом за сеткой решил не ходить. Флакончик с дегтем всегда при себе, как аптечка. Помазался. Все легче. И дымокур бы можно было развести, да поленился.

Солнце – над ельником, невысоко уже, и – рдеет. Как только закатится, думаю, так и работать сегодня закончу – меру себе назначил временную.

Тихо. Но не совсем уж и беззвучно. Как у нас на уроке литературы, когда мы пишем сочинение, – похоже, – оно, село мое родное, задумалось как будто, как будто что-то вспоминает, – ему, конечно, есть что вспомнить.

Где-то корова запоздавшая вернулась с пастбища – стала орать навзрыд, хозяйку вызывая. Во двор ее, похоже, запустили, истомившуюся, – смолкла.

Перепелки перекликаются. Чибисы пигалют возле Куртюмки – кошка, собака ли их беспокоит. Из соседних огородов доносятся голоса приглушенные – как я, картошку кто-то там окучивает.

Из тайги смолистым запахом потянуло. С полян – то терпким, то медовым.

Все хорошо бы, но...

Работа нудная – окучиваю. Один интерес – вывернешь из земли тяпкой монетку медную старинную, рассмотришь, после в карман ее положишь. Дома у меня их уже полон туес накопился. Сибирских много, с соболями.

Солнце за ельник занырнуло – за миллионы вечеров заучено, не поцарапалось – умело. И я на один день повзрослел, и Ялань на один день состарилась. Небо над ельником побагровело. В ельник, тяжело хлопая крыльями, вороны потянулись на ночевку – молчаливые. Потатуй в мочажине за Куртюмкой – сам себе скажет что-то, сам себе поддакнет – заладил. До утра теперь не стихнет. Низко, меня чуть не задев, стремглав куда-то утка пролетела – чирок. Его как будто кто-то выстрелил – со свистом. На Кемь с Бобровки. Потомство вывелось – в заботах.

Урок, как говорит мама, назначенный закончил. Сколько наметил себе, сделал. Положил тяпку между рядками – между готовым уже и еще не начатым. Пошел из огорода: к дому – лицом, спиной – к закату.

Постоял в ограде, послушал: из избы ни слова – интересно.

И тут, в ограде:

Ни воробьев, ни петуха, ни Буски. Воробьи – за наличниками да под стрехами – в места укромные затиснулись. Петух – спать со всей своей семьей на шест уселся во дворе – пора им, курицам, приспела – ослепли. Буска сбежал неведомо куда. Вперед на сутки выпался, наверное. Дом ночью, глаз не смыкая, будет сторожить – не от людей, а от сородичей своих, конечно. Не только сороки и вороны, есть и собаки вороватые – шныряют: ночь, хоть и белая, для них – самое время для разбоя. Скворец-папа сидит, замечтавшись, в кедровой ветке на скворечнике – грудью цветной на зарево небесное напыжился. Уж не по Африке ли загрустил, в Сибири?

Зашел в избу.

Мама посуду моет. Полотенце льняное с красными по краям петухами через плечо у нее перекинута. Тарелку вытрет им и в шкаф ее поставит. Папка и дядя Ваня спят. Словно убитые. Один – как гость – на диване, другой – как хозяин – на полу, подстелив под себя полушубок. Стол убран. Под стол глянул – стоят под ним плотным строем четыре порожние бутылки.

«Ага, – думаю. – Ну, до утра, значит, до солнышка, не встанут. Спокойной ночи».

– Не поругались? – спрашиваю у мамы шепотом.

– Да нет, – отвечает мама. – Слава Богу.

– Ни из-за Сталина, ни из-за Бога?

– Да про собак все больше после говорили. Ума хватило... Да про охоту.

– Жаль, не послушал. Если про охоту.

– Бог даст, не раз послушаешь еще. Одно и то же, то да потому.

– Конечно – пьяные – обычно.

– Ну уж не пьяные, а выпили.

– По мне, что пьяные, что выпили.

Поел хлеба с молоком.

– Пойду, – говорю.

– Надолго? – спрашивает мама.

– Да нет, наверное.

– Смотри. Завтра я рано подниму тебя, пойдешь окучивать. Много осталось?

– Пять рядов.

– Вверху, на глине?

– Нет, на мягком.

– И я еще там сколь, с посудой справлюсь вот, пойду, позагребаю.

– Да не ходи. Я завтра доокучу.

– Да нет уж, как я утерплю.

Не стал дальше маму отговаривать – решил подло: а-а, бесполезно, мол, ведь все равно пойдет и хоть маленько, но поделает – такая. «Пока не завалится... Они, Русаковы, – говорит про них папка, – посидеть спокойно, без дела, как люди добрые, не могут. Как мураши, до смерти будут ёрзать. Не зря же их в Игарку-то сослали. Такой пример дурной, укор терпеть поблизости – кому охота?» Правильно, и в труде меру знать надо, согласен полностью я в этом с папкой. Каким сам после стану – время покажет.

Из дому вышел. Гараж открыл. Мотоцикл из гаража и из ограды после вывел. Воткнув в гнездо ключ зажигания, аккумулятор проверил: лампочка светится – нормально.

Ну, думаю. И думаю: ну, дескать, ладно.

Не тыркая заводным рычагом, чтобы не шуметь, и двигатель не запуская, подкатил мотоцикл к дому Чеславлевых. Свистнул.

Ждал будто – ждал-то, уж точно; будто караулил, – тут же друг мой ворота распахнул. Шагнул павлином через подворотню. Стоит. Не лыбится. Нарядный, как жених: в начищенных до блеска туфлях, в безукоризненно наглаженных коричневых клешах с синим бархатным в штанинах клином, в белой нейлоновой рубаше, с прямым, как школьная линейка, черным, искрящимся, *пластмассовым*, плетеным галстуком. На галстук – дракон зеленый с алым языком – переливается. Мишка Балахнин, двоюродный брат его, Рыжего, служил в Германии, в «ГСВГ», – привез оттуда, подарил ему и галстук и рубашу. Волосы мокрые – видно, что только что вот их причесывал, – но все равно торчат они, как намагниченные будто, хоть и мокрые – так возбудились. Еще и нос блестит у Рыжего – от вазелина.

– Ого! – говорю.

– А ты как думал, – говорит.

– Ну, чё, поедem?

– Ну, поехали.

Если б могли, и полетели бы – с таким настроem.

На Половинке к *доротделовскому*, расположенному в ельнике, на самой его кромке, забором не огороженному, *горючему* складу свернули. Из цистерны бензину ведром зачерпнули. Из бочки тут же масла взяли. Масло в бензине развели, как полагается, по норме. Бак в мотоцикле до крышки наполнили. Цистерну закрыли. Ведро повесили на крюк. Все делал я. Рыжий *забыл спецовку дома*.

– Ну, чё, поехали?

– Поехали. Поехали.

Тут, от Ялани до Черкасс, всего двенадцать километров. Столько же и в другую сторону – до Полоусно.

Снесенный в паводок мост на Кеми под Елисейском еще не восстановили – машины из города в прикемские деревни и из них в город не ходят. Дорога свободная. Светло. Фару не включаем – нужды нет в этом белой ночью. Звезда в небе единственная, но яркая. Не высоко висит над горизонтом, двигаясь вдоль него, а не к нему; будто прибитая – не двигается вовсе. На нее-то мы и едем. На юг то есть. Путеводная. Манит. Уж не Венера ли? Нет, для Венеры вроде рано – она же утром появляется на небосклоне. Хотя... не знаю. Может, и Венера. Пусть будет так: мы едем на Венеру.

Быстро катимся. Под сто. Здесь по прямой пока, так будто – падаем. Шуршит гравий под колесами – едва переднее его касается. Нормально. Парусит теплый еще, не успевший остыть, ветер у нас рубахи на спине, волосы треплет, лица обдувает.

Радостно. Не только, чувствую, от скорости и ветра – не столько, может быть, от них. От ожидания. Чего-то.

Едем. На поворотах кренимся – захватывает дух.

– Рыжий! – кричу.

– А?! – отзывается мне прямо в ухо.

– Не вздумай петь!

– А чё?!

– Зверей перепугаешь!

Молчит Рыжий, не *поет*. Не заболел ли, опасаясь. Левой рукой его похлопал по коленке.

– Ты чё?! – кричит.

– Да просто!

– Нигер, ты чё?

– Да ничего!

– Я думал, чё он где увидел!

С сопки на сопку едем – скорость сбавил. Тракт тут петляет, поднимаясь и спускаясь, словно и сам крадется, – серпантин. Давно нащупал, как здесь быть, он, тракт-то, древний – Старо-Гачинский. Раньше прямком и на телеге было – только опрокинуться. Теперь зимой машине не взобраться – вниз-то сама, а вверх, бывает, трактор тянет.

Не полихачишь.

На черных, обугленных от весеннего пала, стволах деревьев – то с той, то с этой стороны дороги – висят венки. И на одном – четыре сразу. Место это называется Осиновой Черкасской. Есть и Яланская Осиновая – там чуть пониже и положе. Уже проехали ее – та нам роднее.

Здесь, по ручьям, в распадках, черемшу обычно рвем мы. На засолку. Уже нарвали, засолили. Теперь не время – перезрела. В стрелку ушла, как говорят. Тут она в палец толщиной и ростом чуть ли не в полметра, а то и больше – урождается. Сочная и не такая *злая*, как мелкая, можно есть ее и без сметаны, а та-то *шибко уж едучая*. Иной раз и медведь нас опередит. После долгой беспросветной спячки поспевающим к этой поре разнотравьем отъедается и черемшой, в том числе, лакомится – не пренебрегает. Не столько съест, сколько истопчет и сомнет, валяясь с боку на бок. Будто сознательно он так, по-свински, поступает – во вред нам, людям, – конкуренты. И очень сердится, когда заявится сюда, на эту дикую плантацию, а тут все вырвано уже, – примется, прыгая и гневно вякая, ручей лапами бить, валежины вокруг выворачивать или раскачивать да ронять с треском скрипучие сухостоины – так на них злость свою срывает. Как-то мы с папкой наблюдали издали такое, – когда не близко он, – потешно. Папка – тот и медведя не боится. Было б иначе, я бы удивился. И мне с ним, с папкой, рядом-то не страшно. А мама часто говорит: «Не приведи, Господи, с ним, с этим зверем, повстречаться – страсть какая. У него, милого, – говорит, – пусть своя тропа будет, у нас – наша, чтоб по добру-то разминуться». Папка на это только улыбается.

Справа разнолесье. Слева, в низине, за моховой и клюквенной согрой с низкорослыми и корявыми кедриками, березками и сосенками, – Кемь. Реку не разглядеть за релками и гривами, видно туман, поднявшийся над нею, – как указатель. А над туманом – Камень. Возвышается. Макушки лиственниц на нем бледно-бордово-золотые – окрасил север.

И снова можно поднажать. За девяносто.

По обочинам, на изумрудном фоне молодой травы, среди пожухлой прошлогодней, мелькают алые марьины коренья, будущие рогульки, белые и желтые колокольчики, ярко-рыжие жарки-огоньки и сине-сиреневые петушки и медуницы, как говорят у нас: медунки. А кое-где не отцвела еще даже черемуха. Мимо проедешь – запахом обдаст – на миг пьянеешь. Не только, может быть, от запаха. И от чего-то, что не выявить, но догадаться-то – вполне.

Скоро из-за расступившегося внезапно перед нами и поспешно разбегающегося по сторонам густого ельника Черкасы показались. Деревня небольшая, дворов сорок. Когда-то волости Яланской. Основанная, как рассказывал нам Артур Альбертович Коланж, наш учитель по истории, в первой половине семнадцатого века ссыльными *черкасами*, украинскими казаками, которые от безделья и голодухи, забытые напрочь Сибирским приказом, *скитались меж двор* по Елисейску и его окрестностям. Сюда *на паишню посадил* их елисейский воевода Федор Потапович Полибин – решил судьбу их. Тут навсегда они и задержались. Ялань основана – донскими, первопроходцами.

Стоят Черкасы на кемском яру. Не таком, конечно, живописном, как в Ялани. Но согласуясь, что место тоже неплохое. Предки наши знали, где обосноваться. Не абы как, лишь бы приткнуться. Неба тут только меньше, чем в Ялани, – сразу бросается в глаза. Из-за того, наверное, что нет яланского простора.

Всего две улочки в деревне. Одна вдоль берега, другая – вдоль дороги, и не сходятся. Пустых домов и здесь хватает. Часть их без стекол в окнах, без дверей. Их им, беспомощным уже, будто разруха выклевала жадно – стоят слепые, онемевшие.

Несмотря на позднее, ночное, уже время, смуглый, черноголовый лет семи мальчишка, с торчащим, как фигушка, пупом, в длинных, до густо осыпанных *цыпушками* и сморщенных, как урюк, грязных коленок, синих сатиновых трусах, без майки, в кирзовых с загнутыми вверх носками сапогах, катит перед собой таловым прутиком велосипедный обод. Вьются вслед за ним седая пыль дорожная и туча комаров. Мальчишка их не замечает будто.

Притормозили около него, спросили, где у них тут клуб находится.

Придержав рукой обод, подтянув ею прежде чуть ли не до подмышек на себе трусы, указал мальчишка прутиком, не проявляя к нам, как к комарам и пыли, никакого интереса, на небольшую, покосившуюся избу с высоким крыльцом, но низкими и маленькими оконцами. Мальчишка – дальше, вслед за ободом, мы – к им указанной избе.

Недалеко тут – от дороги метров двести. По полянке подрулили. Мотоцикл, заглушив мотор, поставили к заплоту.

Движок, слышим, тархтит – ток электрический, судя по проводам, для клуба специально вырабатывает. Здесь и стоит он, возле клуба, под навесом. Рядом с ним, с движком, валяется канистра жестяная, коричневая.

За клубом – неширокий, но глубокий лог, поросший молодыми елками, за логом – кладбище: кресты виднеются из-за деревьев. Лежат там где-то и *черкасы* – основатели. Слева от кладбища – невспаханное поле. Лошадь на нем пасется, спутанная, боталом гремит. Гнедая.

Зашли в клуб. Пригляделись.

Парень, по виду, наш ровесник или чуть старше. В болотниках, с низко скрученными голенищами, в вылинявшей энцефалитке, в солдатской фуражке с голубым околышем, но без кокарды. Нам не знакомый. Он-то и есть, похоже, моторист. Один. Остальные – девчонки. Семь их или восемь. Сидят на стульях вразнобой. К двери все разом обернулись. Смотрят. Нас с Рыжим это не смущает – мы не из робкого десятка, и не откуда-то, а из Ялани.

На старинном круглом с фигурными ножками столе проигрыватель «Концертный» – складень. Рядом с ним лежит стопка пластинок. Звучит хрипло – из-за испорченного, скорей всего, динамика – песня: *Ты меня опоила колдовскою травой. Никуда не денешься, влюбишься и женишься, все равно ты будешь мой...*

Две девчонки, скрипя шаткими, но чистыми – еще и влажными, значит, помытыми недавно – половицами, танцуют. Танго. Одна *водит*, другая – ей *подчиняется*. Шестиклашки или семиклашки. Со стороны бы видели себя – сами бы умерли от смеху. На ногах той, которую *водят*, белые туфли на высоком каблуке – мамины, наверное, – не спадывают чудом. На ногах ее партнерши – домашние тапочки. Одна – в платье, другая – в спортивных трико и футболке.

Дуся тут, а Тани нет. Сразу выяснили: дома.

Рыжий остался возле клуба – нас ждать. Сел на перила, закурил. Гордый. По виду. По жизни не такой. Иван Захарович сказал бы: бестолковый. Сигареты у него. Болгарские. «Стюардесса». Достал где-то. В целлофановой обертке. Пошуршал ею. Обычно курит «беломор». Глядя на нас, колечко дыма в небо выпустил – умеет.

Я за колечком проследил: пока не скрасилось оно – на фоне неба.

Отправились мы с Дусей к Тане.

Подъехали. Все тут рядом, как в пенале. Не Киев. Марфа Измайловна бы так сказала. Дом – пятистенник. Крыша четырехскатная, крутая. Ветки валяются на ней – мертвые. Крыша под шифером, уже замшелым. Окна большие, с голубыми ставнями. Ставни закрыты – до утра. Ворота и заплот вокруг ограды – глухие, сквозь них и ветру не протиснуться – не только пуле. Думаю. Палисадник буквой «Г» – вдоль северной и восточной стороны дома.

В палисаднике – рябина, калина, кедр и тополь. Рябина и калина доцветают – еще пахнут, свежеееет воздух – так и вовсе. Тополь – чуть не вдвое выше дома, хоть и не взрослый; кедр – тоже. Еще и разные цветы. Есть и какие-то бархотки – имя их Таня после назвала, – я и запомнил. Сказала так: «Это?.. Бархотки». Штакетник крашенный – зеленый. На одной из штакетин висит наружу старая, скрученная от долгой ненужности в *восьмерку* или в *знак бесконечности* велосипедная крышка.

– Летом она не в доме спит, – говорит Дуся, плавно слезая с мотоцикла. Как об обычном, незначительном.

– А где? – спрашиваю. Как о великой будто тайне.

– На чердаке, – спокойно отвечает Дуся. И говорит: – Я у нее была, звала ее на танцы... не захотела она чё-то. И из сеней забраться можно, и из ограды – пока там лаз-то не забит. Сени закрыты – уже поздно. Я – из ограды. Здесь подожди, то там собака... меня-то знат она – дак не укусит.

Рослая она, Дуся, выше меня. Только неловкая какая-то. И интересно они тут, в Черкассах, говорят – гласные тянут не по-нашему.

Скрылась Дуся за воротами, поговорила с кем-то в ограде – с собакой, наверное, – и... Вышли...

Мне показалось: много времени прошло...

В белых босоножках Таня – плетеных. В желтых вельветовых штанах. В зеленой, клетчатой, *мальчишеской*, рубашке навыпуск, с закатанными до локтей рукавами. Две верхние пуговицы не застегнуты – как-то заметил, искоса, пожалуй, – привлекли. Ноги и руки еще больше загорели, чем были в прошлый раз, когда впервые я ее увидел – Таню. Волос вокруг лица много. Пегие. Больше соломенных в них прядей. И – в беспорядке: спала уже – лицо как у ребенка.

Я потерялся – сам не свой: вроде и та, смотрю, а вроде и не та, еще как будто стала интереснее – дух захватило. Непривычно. Когда во сне срываешься куда-то – так же. Вспомнил про физику – не та наука. Ну, думаю. И:

– Здравствуй, – говорю. Но сам себя не слышу почему-то. Только подумал будто – не сказал.

– Привет, – говорит. Улыбается – проснулась. Одна ямочка на левой щеке. Как звезда на нынешнем небе. Если планета, то – Венера. На правой – черточка лишь – словно звезда упала – чиркнула по небу. Я не забыл о них – в прошлую встречу в память мою врезались: как будто точка с запятой – что только вот обозначают?

Посмотрела на нас Дуся – сначала на меня, после на Таню, – странно хихикнула и говорит:

– Ну, ладно, Таня, я пошла.

– Ладно, – говорит Таня. На нее смотрит, на Дусю.

– До свиданья, – говорю. Смотрю. Куда-то.

– До свиданья, – отвечает Дуся.

Она – учительница будто, я – как школьник. И даже злиться начинаю. Не на кого-то – на себя: как будто кто-то меня сглазил.

Ушла Дуся. И нам:

Податься тут особо некуда – на Кемь поехали.

Ночь. Белая. Кемь в этом течении тихая – без перекатов. Небо в реке – как в зеркале, без изъяна. Берег другой в ней – опрокинут. Есть шивера, но чуть пониже – слышно ее едва-едва.

– Искупаемся? – не зная что сказать, вроде как в шутку предлагаю.

– Давай, – соглашается Таня.

Молчу.

– Только не здесь. Вода здесь, – говорит Таня, – очень холодная – выше Черкасс впадает Тыя, а она же ключевая. Можно поехать... Есть там место.

Что-то сказал я, что – не помню. Что согласился-то, так это точно.

Поехали по тракту в сторону деревни Масленниковой.

Проскочив по высокому, восстановленному уже после половодья мосту шиверистую Тыю, к Кеми свернули по тропинке. Остановились на яру. Как перед бездной.

Вверху небо. Внизу небо. Отраженное. Кругом – тайга, тайга, тайга.

К реке спустились.

Пестрый камешник. Мелкий. Обкатанный. Коснись его пальцами – не остыл.

– Не смотри, – говорит Таня.

– Нет, нет, – как испугался будто, говорю. Язык сухим стал – так мне кажется. Как лист лавровый. Шевелю им – проверяю: не умер.

Раздеваюсь лицом к Кеми. Таня, за спиной у меня, – лицом к яру. Чувствую. Не только Таню, но и яр.

Не оглядываясь, залез в воду. Вода и действительно тут намного теплее, чем у нас.

Поплыл на середину. Вернулся. Про себя думаю: «Плыву посажёнки».

Кролем – так оно вроде называется. Стараюсь.

Таня в реке уже. Плавает. *По-собачьи*. Одна голова. Волосы – сухие. Перед лицом ее волна зеленая – под цвет глаз, – сомкнула Таня плотно губы. И улыбается – хоть помирай: в жизни не видывал такой улыбки. Еще – над речкой...

– Здо́рово, – говорю. Про что-то. Про все. Сам – в воде, а кажется – где-то.

Про время думаю. Не суток. Про то, что будет. А настанет ли?.. Нависло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.